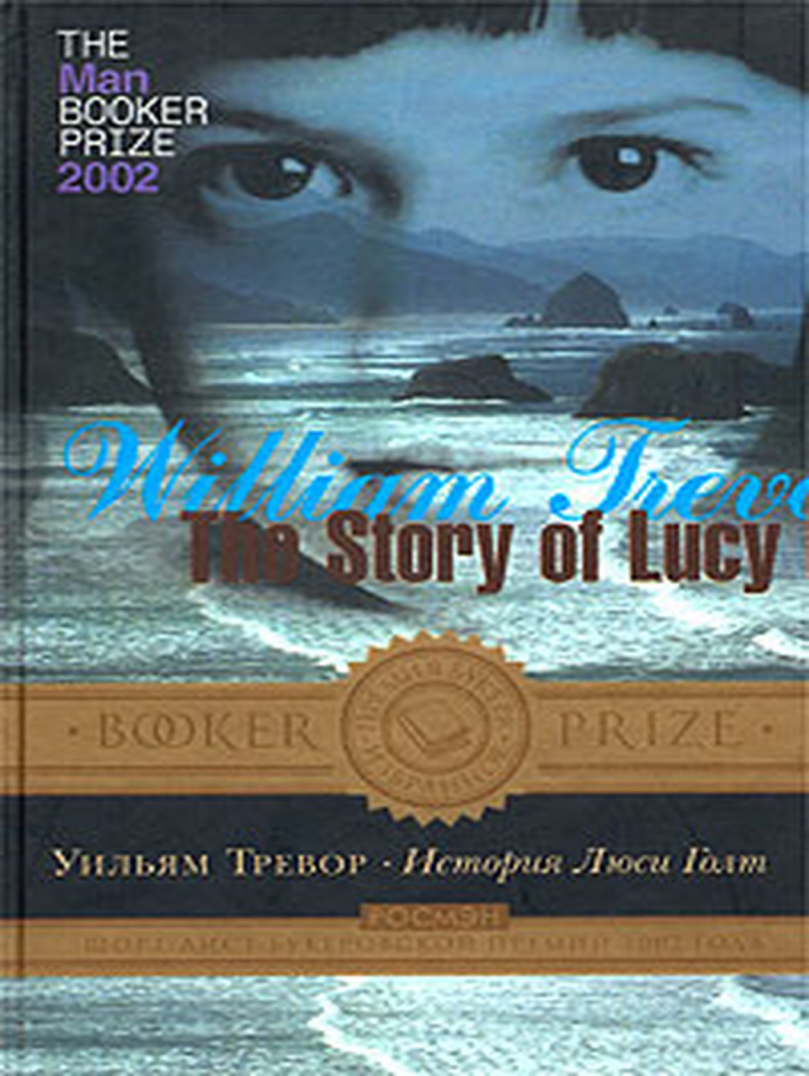
THE
Man
BOOKER
PRIZE
2002
William Treve
The Story of Lucy
BOOKER
PRIZE
Уильям Тревор · История Люси Гоулт

История Люси Голт
Уильям Тревор

Аннотация
Уильям Тревор. История Люси Голт
Один
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Два
1
2
4
5
6
7
8
Три
1

- 2
- 3
- 4
- 5

Четыре

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Пять

- 1
- 2
- 3

Шесть

Аннотация

Супружеская чета Голтов вынуждена покинуть свой дом в Ирландии и отправиться в долгое изгнание. Но на родной земле остается их девятилетняя дочь, которую по трагическому стечению обстоятельств родители считают утонувшей. Перед ней – долгая жизнь…

Удивительная история, которая обманывает все читательские ожидания и притворяется при этом «простой хорошей прозой». Уильям Тревор, один из самых известных Современных английских писателей, подарил нам неторопливую, лишенную внешних эффектов притчу, в которую укладывается весь двадцатый век.

Уильям Тревор
История Люси Голт

Посвящается Джейн

Один

1

Капитан Эверард Голт ранил этого парнишку в правое плечо ночью двадцать первого июня тысяча девятьсот двадцать первого года. Они вторглись в его владения, и он выстрелил из окошка в верхнем этаже один-единственный раз, целясь поверх голов, а потом стоял и смотрел, как они бегут прочь, три темные фигуры, и две волокут на себе третью.

Они приходили, чтобы поджечь дом, и визит их не был неожиданностью, потому что подобное случалось и раньше. В тот раз они пришли позже, глубокой ночью, в самом начале второго. Тогда их спугнули овчарки, но через неделю овчарок нашли во дворе отравленными, и капитан Голт понял, что скоро к нему придут снова. «Мы уже и так с ног сбились, — сказал приехавший из Инниселы сержант Толти. — Верите, капитан, просто разрываемся на части». Лахардан не был единственным домом, которому угрожала опасность; недели не проходило, чтобы кого-нибудь не убили, вне зависимости от того, как полицейские в очередной раз пытались перераспределить силы. «Дай бог, чтобы поскорей все это кончилось»,

— сказал сержант Толти и уехал. Беспорядки в стране усиливались, все больше напоминая гражданскую войну, и военного положения никто не отменял[1]. По факту убийства собак дела возбуждать не стали.

Когда наутро после ночной стрельбы рассвело, на усыпанном морскими камушками автомобильном развороте со стороны фасада обнаружилась кровь. За деревом нашли две канистры с бензином. Гальку разровняли граблями, запачканные камушки, пару ведер в общей сложности, унесли и выбросили подальше.

Капитан Голт решил, что теперь все пойдет как надо: свой урок они получили. Он написал в Иннисселу, отцу Морриссею, и попросил при случае — если до священника вдруг дойдут слухи о раненом, — передать соболезнования и пожелать скорейшего выздоровления. Он никоим образом не хотел, чтобы пролилась кровь; он всего лишь хотел дать понять, что с ним подобный номер не

---

[1] Примечания: 1

С 1919 по 1921 год в Ирландии шла фактически партизанская война между, с одной стороны, подпольной Ирландской республиканской армией и, с другой, британскими полицейскими частями и бригадами т.н. «черно-пегих» — нерегулярными карательными отрядами, которые по большей части формировались из бывших фронтовиков. Отсюда особая нелюбовь к последним — за что во многом и поплатился капитан Голт, к тому же будучи еще и землевладельцем, англоирландцем, женатым на англичанке. *(Здесь и далее прим. перев.)*

пройдет. Отец Морриссей ответил на его письмо. *Домашние всегда считали его человеком отпетым,* подытожил он свои рассуждения об имевшем место несчастном случае, но во всем его письме сквозила какая-то странная неестественность: в подборе слов, в строении фразы, как если бы он так и не понял, что ни убивать, ни ранить этого мальчика никто не собирался. Он написал, что передал весточку той семье, о которой шла речь, но ответа не получил.

Капитану Голту тоже приходилось получать ранения. Вот уже шесть лет, с тех самых пор как его комиссовали по инвалидности с передовой, в теле у него сидели кусочки шрапнели, которые теперь уже никто вынимать не станет. Из-за этого ранения ему пришлось поставить крест на военной карьере; отныне он навсегда останется капитаном, что, конечно, досадно до крайности, ибо он рассчитывал дослужиться до куда более высокого звания. Впрочем, во всем остальном ему жаловаться на жизнь не приходилось. Утешение, и немалое, всегда можно было найти и в счастливом браке, и в ребенке, которого родила ему жена, Хелоиз, и в собственном доме. Он бы нигде не смог быть так счастлив, кроме как в этом подведенном под сланцевую крышу трех-

этажном доме, где белые оконные рамы и тонкие филенчатые переплеты веранды у входной двери смягчали суровую серость камня. Справа от дома, сквозь широкие и высокие сводчатые ворота, можно было попасть в мощенный галечником двор, откуда такие же мощеные дорожки вели в яблоневый сад и в огород. Передние комнаты выходили на широкий круг, половину которого составляла усыпанная морской галькой подъездная площадка; на другой разбили газон и посадили вдоль крутого лесистого склона полосу голубых гортензий. Из верхних комнат в задней части дома открывался вид на море, не ограниченный ничем, кроме морских горизонтов.

Корни ирландских Голтов уходили в туманную даль веков. Перебравшись сюда из Норфолка — по крайней мере, так было принято считать в семье, хотя и без особой уверенности, — они сперва осели на дальних западных окраинах графства Корк. Скромную эту династию основал бывший наемник, которому в силу каких-то невнятных причин нужно было найти местечко потише и никуда из него не высовываться. Где-то в самом начале восемнадцатого века семейство, давно уже успевшее перейти в разряд уважаемых и довольно-таки состоятельных, перебралось

немного восточнее, и в каждом поколении кто-нибудь из сыновей непременно продолжал фамильные связи с армией. Потом они купили землю в Лахардане; начали строить дом. Протянули к нему длинную и прямую подъездную аллею, обсадив ее по обе стороны каштанами, и привели в порядок росший вдоль ручья лес. Следующие поколения завезли из графства Армаг яблоневые саженцы и насадили сад; огород тоже понемногу увеличивался в размерах, но не слишком. В 1769 году в Лахардане останавливался лорд Таунсенд, тогдашний вице-король Ирландии; а в 1809-м, когда в «Стюарте Дромана» не оказалось ни одной свободной спальни, — Дэниел О'Коннелл[2]. Таким образом, история время от времени касалась этих мест; но то, о чем здесь действительно крепко помнили, о чем говорили из раза в раз, так это о рождениях, смертях и свадьбах, о домашних происшествиях, о перестановках и перестройках в той или иной части дома, о вспышках ярости и о примирениях.

---

[2] Примечания: 2

Дэниел О'Коннелл (1775–1847) — ирландский юрист, борец, исключительно мирными методами, за права католиков. Создал в 1823 году т.н. Католическую ассоциацию, добился в 1829 году права для католиков избираться в британский парламент и на следующий год сам стал членом парламента от графства Клэр. Был очень популярен в Ирландии, хотя и вызывал много нареканий со стороны националистических «ястребов».

В 1847 году одного из Голтов разбил удар, и он три года пролежал без движения, хотя и не без чувств. В 1872-м шесть месяцев продолжалась пагубная карточная игра, в течение которой поле за полем переходило к соседям, О'Рейли. Жуткая и скоротечная эпидемия дифтерии скосила семью в 1901-м, оставив из пятерых человек живыми только ныне здравствующих Эверарда Голта и его брата. В гостиной над письменным столом висел портрет какого-то предка, имени которого, сколько помнили себя нынешние Голты, никто не знал: суровое, строгое выражение лица, насколько под густыми бакенбардами можно было рассмотреть лицо, невыразительные голубые глаза. Других портретов в доме не было, хотя с тех пор, как изобрели фотографию, появились альбомы с карточками родственников и друзей и самих Голтов из Лахардана.

Все это — дом и остатки пастбищ, морской берег под бледными глинистыми утесами, тропинка вдоль берега к рыбацкой деревушке под названием Килоран, подъездная аллея, над которой давно уже сомкнулись ветви разросшихся старых каштанов, — было частью Эверарда Голта в неменьшей степени, чем черты его лица, в которых можно было увидеть некоторое сходство

с лицом на портрете, и прямые темные волосы. Высокий и стройный человек, которому нечего было скрывать от других людей и у которого с некоторых пор совсем не осталось амбиций, он уже давно решил принять ту судьбу, которая ему выпала: прилежно вести доставшееся ему по наследству хозяйство, приманивать в ульи пчел, корчевать выродившиеся яблони и сажать вместо них новые. Он сам чистил в доме дымоходы, мог подновить раствором растрескавшиеся стыки между камнем и вставить новое оконное стекло. Забравшись на крышу дома, он заделывал появляющиеся время от времени в листовом свинце маленькие дырочки; нужно было замазать каждую секкотином, и на какое-то время этого хватало.

Во всем этом ему часто помогал Хенри, медлительный, крепко сбитый человек, который почти никогда не снимал шляпы, по крайней мере в светлое время суток. Много лет назад Хенри женился и перебрался в сторожку возле ворот, в которой теперь жили только они вдвоем с Бриджит, поскольку детей у них не было, а родители у Бриджит умерли. Раньше у ее отца в распоряжении было еще два человека, и все они ухаживали за лошадьми, и вообще делали все

то, с чем Хенри теперь управлялся в одиночку в полях и на подворье. Ее мать была прислугой в доме, а до нее — бабушка. Бриджит была такая же крепко сбитая, как ее муж, с широкими, сильными плечами и уверенной манерой двигаться; на кухне она была единственная хозяйка. Горничная, Китти Тереза, помогала Хелоиз Голт справляться с домашними делами, для которых тоже когда-то требовалась никак не одна пара рук: раз в неделю из Килорана приходила старая Ханна — стирать одежду, постельное белье и скатерти и отскребать плитку в прихожей и каменный пол в задней части дома. Жить как раньше, на широкую ногу, в Лахардане уже не получалось. Длинная подъездная аллея шла по земле, которая за карточным столом перешла в собственность к О'Рейли. С тех пор у Голтов только и осталось пастбищ, чтобы прокормить маленькое стадо фризских коров.

Через три дня после ночной стрельбы Хелоиз Голт прочитала письмо, которое пришло от отца Морриссея, потом перевернула его и прочла еще раз. Она была стройная, нешироката в кости женщина, ей было чуть за тридцать, длинные светлые волосы уложены так, чтобы подчеркивать черты лица, чтобы придать ее серьезному

красивому лицу ту нотку строгости, которая то и дело вступала в явное противоречие с улыбкой. Вот только улыбка эта стала теперь редкой гостьей — с той самой ночи, когда ее разбудил выстрел.

Вообще-то Хелоиз Голт была не из робкого десятка, но на этот раз она поняла, что ей страшно. Она тоже была из офицерской семьи, и то обстоятельство, что за несколько лет до замужества она осталась совершенно одна, после того, как умерла ее мать, овдовевшая еще во время войны с бурами, ничуть не выбило ее из седла. В беде ли, в скорби самообладание было ее естественным состоянием, но тут вдруг выяснилось, что автоматически, само по себе, оно не возникает: стоило ей только представить себе, что эти люди хотели поджечь дом, в котором спала она сама, ее ребенок и ее служанка. А еще были отравленные псы, и оставшееся без ответа письмо в семью того парня, и кровь на камнях.

— Мне страшно, Эверард, — наконец призналась она, когда держать это чувство в себе стало совсем невмоготу.

Они прекрасно знали друг друга, капитан и его жена. У них был один на двоих стиль жизни, общая иерархия забот и ценностей. Оба в ранней

юности близко познакомились со смертью, и это сразу их сблизило, а после свадьбы заставило острее ценить семейное чувство, возникшее после рождения ребенка. Когда-то Хелоиз казалось само собой разумеющимся, что у нее будут другие дети, и она до сих пор не отказалась от мысли, что по крайней мере еще одного они могут себе позволить. Но со временем муж настолько мягко и ненавязчиво убедил ее в том, что никоим образом не вменяет ей в вину отсутствие сына, который со временем мог бы унаследовать Лахардан, что она прониклась — и по мере того, как рос ее ребенок, проникалась все сильнее и сильнее — чувством благодарности за это единственное произведенное ею на свет человеческое существо и за то чувство, которое связывало их всех троих между собой.

— Страшно? Не очень-то это на тебя похоже, Хелоиз.

— Это все из-за меня. Из-за того, что я, англичанка, хозяйничаю в Лахардане.

Хелоиз настаивала на том, что причиной излишнего внимания к их дому была именно она, но убедить в этом мужа ей так и не удалось. Он напомнил ей, что Лахардан в этом смысле ничуть не являет собой исключения и что подобное про-

исходит сейчас по всей Ирландии. Это не просто дом, а поместье, и пусть земельная собственность Голтов давно пришла в упадок, одного наличия оной вполне достаточно, чтобы спровоцировать ночных поджигателей. А еще ему пришлось признать, что оказанного отпора, пожалуй, не достанет, чтобы заглушить в злоумышленниках тягу к разрушению, какими бы причинами эта тяга вызвана не была. С тех пор какое-то время Эверард Голт спал после обеда, а по ночам нес стражу; и хотя его ни разу так никто и не потревожил, сама его озабоченность безопасностью дома в сочетании с мрачными предчувствиями жены все более усугубляла царившее в доме беспокойное умонастроение, нервозность, которая сказывалась на всех его обитателях, не исключая в конечном счете и единственного в доме ребенка.

* * *

Восьмилетняя, то есть почти уже девятилетняя Люси подружилась в то лето с О'Рейлевым псом. Эта большая игривая зверюга — наполовину сеттер, наполовину ретривер — приблудилась к О'Рейли примерно с месяц тому назад; хозяева уехали, а пса бросили, высказал предположение

Хенри, и после непродолжительного выяснения отношений О'Рейлевы дворовые собаки приняли чужака за своего. Хенри сказал, что тварь он совершенно бессмысленная, папа — что он зануда и надоест кому хочешь, особенно когда скатывается с обрыва под ноги первому показавшемуся на пляже человеку с единственной целью: навязаться в компанию. Клички псу О'Рейли не дали, да и вообще навряд ли заметили бы — так сказал Хенри, — если бы он сбежал от них и приблудился к кому-нибудь еще. Когда Люси и папа плавали рано-рано по утрам, папа всегда гнал пса прочь, если замечал, что тот скачет по пляжу. Люси считала, что это немного слишком, но вслух этого не говорила; как не признавалась в том, что когда она купается в одиночку — чего ей никто не разрешал, — безымянный пес возбужденно носится по галечнику вдоль самой кромки, но в воду не заходит, а иногда хватает одну из ее сандалий и носится с сандалией во рту. Хенри сказал, что пес старый, но вдвоем с Люси на пляже он превращался едва ли не в щенка, а потом ложился без сил и вываливал длинный розовый язык. Однажды она так и не смогла найти сандалию, с которой играл пес, хотя потратила на поиски все утро. Ей осталось только выкопать со дна ящика

с обувью старую пару и надеяться, что никто не заметит подмены — никто и не заметил.

Когда в Лахардане отравили собак, Люси предложила этого пса одной из них на замену, потому что у О'Рейли он никогда так по-настоящему и не прижился; но это предложение было принято безо всякого энтузиазма. Не прошло и недели, как Хенри взялся натаскивать двух щенков-овчарок, которых уступил ему по сходной цене один фермер из окрестностей Килорана. Люси была очень привязана к обоим родителям — к отцу потому, что с ним всегда легко, к маме потому, что она такая красивая и добрая. Но в то лето она очень на них обижалась, потому что они не разделяли ее привязанности к псине О'Рейли, и Хенри тоже, а потому она обижалась и на него; по прошествии времени ей казалось, что только эта обида и должна была остаться в памяти от тогдашнего лета, да и осталась бы, если бы не история с ночной стрельбой.

Люси никто ничего не рассказывал. Отцовский выстрел ее не разбудил и превратился во сне в звук ветки, обломившейся под напором ветра; а еще Хенри сказал, что овчарки, должно быть, забрели на отравленную землю. Но неделя шла за неделей, вкус лета менялся, и подслушивание

стало основным источником информации.

— Постепенно все утихнет, — сказал папа. — Уже и сейчас идут разговоры о перемирии.

— Будет перемирие или нет, от этого легче не станет. И все это понимают. И чувствуют. Нас никто не сможет защитить, Эверард.

Люси стояла в холле и слышала, как мама говорит, что им, наверное, следует уехать, что, скорее всего, у них просто нет выбора. Она не поняла, о чем идет речь, не поняла, что должно утихнуть. Она подошла поближе к слегка приоткрытой двери просто потому, что голоса звучали тише, чем были на самом деле.

— Мы не должны забывать еще и о ребенке, Эверард.

— Да, конечно.

А на кухне Бриджит сказала:

— Мореллы уехали из Клэшмора.

— Слышал, — тягучий голос Хенри настиг Люси уже на собачьей дорожке, то есть в коридорчике, который вел от кухни к задней двери. — Уже слышал.

— А им ведь уже за семьдесят.

Хенри какое-то время помолчал, а потом заметил, что в такие времена люди всегда рассчитывают на самое худшее, и, если началась

заваруха, многие считают, что лучше перестраховаться. Гувернеты уехали из Эглиша, сказал он, Прайоры из Рингвилла, а еще Свифты и Бойсы. Куда ни пойдешь, только и разговоров о том, кто еще уехал.

И тогда до Люси дошло. Она поняла, что такое «заброшенный дом», из которого приблудился пес. Она представила себе оставленную мебель и вещи, потому что и об этом тоже шла речь. А когда до нее дошло, она убежала из коридорчика, и ей было все равно, что взрослые услышат, как она бежит и как громко стукнула дверь во двор, а услышав это, они поймут, что она их подслушивала. Она побежала в лес, к ручью, где всего несколько дней назад помогала папе выстраивать в рядок камни, чтобы переходить по ним на другой берег. Они собираются бросить Лахардан — и ручей, и лес, и берег моря, плоские скалы, где после отлива остаются лужи с креветками, комнату, которую она видит каждое утро, когда просыпается, куриное квохтанье во дворе, индюшачье кулдыканье, и ее следы, первые следы на нетронутом пляже, когда она утром идет в школу в Килоран, и водоросли, которые можно поднять и посмотреть по ним, какая будет погода. Ей придется придумывать коробки, чтобы уложить

в них раковины, которые лежат у нее в спальне на столике у окна, и еще для шишек, и для палки, похожей на кинжал, и для кремешков. Ничего выбрасывать нельзя.

Она попыталась представить себе, куда они могут уехать, и непредставимость этого несуществующего места придавила ее окончательно. Она села и поплакала в густых зарослях папоротников, в нескольких футах от воды. «Вот тут нам всем и крышка», — сказал Хенри, когда она подслушивала, и Бриджит с ним согласилась. А еще в другой раз папа сказал, что в Ирландии самый страшный враг — это прошлое.

Весь остаток дня Люси провела в потаенных местечках в лесу у ручья. Она попила воды из родника, который папа нашел, когда сам был маленьким. Она полежала в траве в том месте, где сквозь ветви всегда пробивалось солнце. Она поискала развалюху Падди Линдона, которую ей все никак не удавалось найти. Падди Линдон появлялся иногда из леса как самый настоящий дикий человек — глаза налиты кровью и волосы не расчесывались отродясь. Именно Падди Линдон подарил ей палку, похожую на кинжал, и научил высекать из кремешков искры. Часть крыши у него в лачуге совсем провалилась, ска-

зал он ей, но зато другая часть ничего, держится. «Вот мученье-то мне с этим дождем, — обычно говорил он. — Льет и льет, а дерн у меня на крыше старый, совсем не держит. Я с этой крышей в ящик сыграю раньше времени».

Дождь изводил его, дождь издевался над ним, как будто беса какого к нему приставили, так он говорил. А потом однажды папа сказал: «Падди, бедолага, помер», — и она тоже плакала.

Потом ей надоело искать лачугу, где когда-то жил Падди Линдон, — впрочем, надолго ее никогда не хватало. Почувствовав, что проголодалась, она пошла сквозь лес под гору, вышла к ручью, а вдоль него — к дороге, которая вела в Лахардан. Единственные звуки здесь были: звук ее собственных шагов и звук шишки, если ей приходило в голову отфутболить шишку ногой. Дорога нравилась ей, пожалуй, даже больше, чем какое-либо другое место, хотя если идти по ней к дому, то все время получается в гору.

— Ты только посмотри, как ты поцарапалась, — Бриджит резким тоном принялась выговаривать ей на кухне. — Дитё ты, дитё, как будто без тебя нам забот мало.

— Я из Лахардана никуда не поеду.

— Да что ты такое говоришь.

— Не поеду, и все тут.

— Ты сейчас отправишься наверх, Люси, и отмоешь коленки. Вся вымоешься, пока родители тебя не увидали. И вообще, ничего пока не решено.

Наверху Китти Тереза сказала, что наверняка в конечном счете все будет в порядке, — она всегда и во всем видела только светлую сторону. Именно так неизменно складывались дела в грошовых любовных романах, которые мама Люси покупала для Китти Терезы в Инниселе, а сама она потом зачастую пересказывала Люси: истории о несчастьях и о разбитой любви, которые всегда вели к счастливому концу. Золушки приезжали на бал, дуэль на шпагах обязательно выигрывал самый симпатичный из двух претендентов, а скромность вознаграждалась сказочным богатством. Однако на сей раз светлая сторона подвела Китти Терезу, ей только и осталось повторить еще раз: наверняка в конечном счете все будет в порядке.

* * *

— Другого дома у меня уже не будет нигде и никогда, — сказал Эверард Голт, и Хелоиз ответила, что и она теперь тоже навряд ли где-то еще сможет почувствовать себя по-настоящему дома.

В Лахардане она была счастлива так, как ей еще никогда не доводилось в жизни; но за раненого будут мстить, а как же иначе.

— Даже если они будут ждать, пока не кончится смута, той ночи они все равно не забудут.

— Я напишу родителям этого мальчика. Отец Морриссей считает, что в этом есть смысл.

— Ты же знаешь, мы вполне сможем прожить на мои деньги.

— Давай я все-таки попробую написать его родителям.

Она не стала настаивать на своем. Ни теперь, ни позже, когда прошло несколько недель, а ответа на письмо все не было; ни еще того позже, когда муж сел в таратайку, съездил в Инниселу и отыскал там семью, которой нанес оскорбление действием. Они предложили ему чаю, и он принял приглашение, надеясь, что это добрый знак и что засим последует примирение; он был готов заплатить любую сумму, чтобы только уладить дело. Они выслушали его предложение, и все это время босоногие дети сновали туда-сюда, то в кухню, то из кухни, и время от времени кто-нибудь из них вертел колесо мехов, и от горящего торфа взлетали искры. Но никакого ответа он так и не получил, если не считать обычных вежливых

фраз. Тот сын, которого он подстрелил, тоже сидел за столом, но не сказал ни слова, на капитана смотрел презрительно, и рука у него висела на перевязи. Под конец капитан Голт сказал — и почувствовал себя ужасно неловко, из-за того, что ему приходится такое говорить, — что когда-то в их доме останавливался Дэниел О'Коннелл. Само имя было — легенда, а человек был борцом за права угнетенных; но время, по крайней мере в этой убогой избушке, лишило прошлое волшебного ореола славы. Эти трое ребят всего-то навсего пошли ставить силки на кроликов и заблудились. Им не следовало нарушать границы чужой собственности — понятное дело, с этим никто не спорит. Капитан Голт не стал упоминать о канистрах с бензином. Он вернулся в Лахардан, чтобы провести еще одну бессонную ночь.

— Ты права, — сказал он жене несколько дней спустя. — Так уж всегда выходит, что в конечном счете ты оказываешься права, Хелоиз.

— На сей раз меня это совсем не радует.

Эверард Голт пропал без вести в 1915 году; и это ожидание без какой бы то ни было уверенности в результате было самым одиноким временем в жизни Хелоиз, а двухлетняя дочь — ее самым большим утешением. Потом пришла телеграмма,

и она, закрыв глаза, испытала приступ совершенно эгоистического чувства облегчения: в телеграмме говорилось, что мужа комиссовали из армии по инвалидности. Тогда она дала себе клятву, что, сколько бы судьба ни отвела им прожить вместе, она никогда больше с ним не расстанется, и ее решимость была в своем роде знак благодарности за ниспосланный судьбой несчастный — и счастливый — случай.

— Все время, пока я у них сидел, они думали о том, что я нарочно пытался убить их сына. Я почти физически это чувствовал. Они не поверили ни единому моему слову.

— Эверард, у нас с тобой есть мы и есть Люси. Мы можем начать все сначала где-нибудь в другом месте. В любом другом месте, которое нам понравится.

Жене всегда удавалось вдохнуть в Эверарда Голта силы, утешить его, как будто пролить бальзам на застарелую боль мелких невзгод и поражений. Они станут жить на деньги из ее наследства, здесь она права; они люди не бедные, хотя, конечно, им никогда уже не достичь столь прочного положения, какое было у Голтов до потери земель. Условия жизни будут не слишком отличаться от нынешних, даже и вдали от Лахардана. В Ирлан-

дии наконец наступило долгожданное затишье, но его почти никто не заметил: так мало в него поверили.

Разговоры в гостиной и на кухне продолжались, на одну и ту же тему, хотя и с двух разных точек зрения. Придя в ужас от всего услышанного, горничная принялась задавать вопросы, и ей ответили. Для Китти Терезы Лахардан тоже был родным домом вот уже двадцать лет с хвостиком.

— Ой, мэ-эм! — пролепетала она, перебирая пальцами краешек фартука, и вся залилась краской. — Ой, мэ-эм!

Но если для Китти Терезы и впрямь наступил конец света, для Хенри и Бриджит все складывалось отнюдь не так трагично, или, по крайней мере, им так казалось. Хозяева про них не забыли, они могли, если хотели, остаться жить в сторожке при условии, что будут присматривать за большим домом; коровы тоже должны были перейти в их собственность, хотя бы во временную, чтобы они могли сводить концы с концами.

— В любом случае на маслобойне вам станут платить больше, чем мы сможем себе позволить, — уверила их Хелоиз. — Нам кажется, что это вполне справедливо.

А капитан добавил, что пройдет время, и все уляжется, другого выхода нет.

Хелоиз сказала дочери, что они уедут в Англию, нужно только подыскать Китти Терезе какое-нибудь новое место, она ей обещала, и отправить уведомление старой Ханне.

— Мы что, надолго? — спросила Люси, зная, что услышит в ответ.

— Да, надолго.

— Насовсем?

— Нам бы этого вовсе не хотелось.

Но Люси знала, что так оно и будет. И Мореллы, и Гувернеты уехали насовсем. Бойсы перебрались на север, сказал Хенри, а дом пошел с аукциона. Она поняла скорее интонацию, чем слова, но сказано было именно так.

— Мне очень жаль, Люси, — сказал папа. — Мне правда очень жаль.

Во всем была виновата мама, но и он тоже был виноват. Они были оба виноваты: и в том, как подавленно молчала старая Ханна, и в том, какие красные глаза были у Китти Терезы, а передник у нее промок от слез, которые безостановочно катились у нее по щекам и по шее, так что Бриджит по двадцать раз на дню говорила ей, чтобы она перестала. Хенри, ссутулившись, с мрачным

видом ходил по двору.

— Ой, какая ты у нас модница! — воскликнул папа как-то утром, когда она вышла к завтраку в красном платье, — притворяясь, что ему весело.

Мама разлила у буфета чай и подала к столу чашки с блюдцами.

— Давай-ка не куксись, хорошая моя, — сказала мама и склонила голову набок. — Не куксись, ладно? — попросила она еще раз.

Хенри проехал на телеге под окнами, повез на маслобойню фляги со сливками; ничуть ни повеселев, Люси сидела и слушала, как стихает на подъездной аллее стук копыт. Две минуты: как-то раз за завтраком папа засек время по карманным часам.

— Подумай, каково бедной дочке лудильщика, — сказала мама. — У нее никогда не было крыши над головой.

— У тебя всегда будет крыша над головой, Люси, — пообещал ей папа. — Нам всем время от времени приходится привыкать к чему-то новому. Просто приходится, леди, и все.

Ей нравилось, когда он называл ее леди, но сегодня утром ей это совсем не понравилось. Она не понимала, зачем нужно привыкать к чему-то новому. А когда они ее спросили, она сказала, что

не хочет есть, хотя есть ей хотелось.

Потом на пляже был прилив, и волны набегали на изрисованный чаячьими следами песок и на маленькие бугорки, оставленные песчаными червями. Пес О'Рейли бегал за толстыми стеблями водорослей, которые она ему бросала, и думала при этом: и сколько же, интересно, осталось дней. Никто ей этого не сказал; а она не стала спрашивать.

— А теперь давай иди домой, — приказала она псу, указав рукой на обрыв, а когда тот не послушался, стала говорить с ним папиным голосом.

Дальше она пошла одна — мимо каменистой гряды, которая выдавалась в море, как палец, потом через ручей, там, где были уложены камни для переправы. Поднявшись немного вверх по лесистому склону балки, она перестала слышать море и внезапные, отрывистые вскрики чаек. Сквозь лесную полутьму пробивались длинные узкие полосы света. «Я эту лощину еще и до середины не прошел», — говорил обычно Падди Линдон. Он у себя возле хибары расчистил делянку, сказал он ей однажды, и каждую весну сажает там картошку; но сегодня она была не в настроении идти искать его хижину.

— Кто со мной поедет в Иннисселу? — спросил

в тот день после обеда папа, и, конечно же, она сказала, что тоже хочет ехать. Папа откинулся в таратайке, устроился поудобней, небрежно пропустив между пальцами вожжи. В первый раз его возили в Инниселу, сказал он, в пять лет, чтобы подрезать уздечку под языком.

— А что такое уздечка?

— Маленькая такая перемычка у человека под языком. Если она слишком короткая, человек косноязычный.

— А что такое *косноязычный?*

— Это когда человек не может говорить так, чтобы всем было понятно.

— А ты не мог?

— Говорят, что не мог. В общем, было не очень больно. Зато потом мне подарили набор мраморных шариков.

— А мне кажется, должно быть очень больно.

— Ну, тебе-то это не грозит.

Шарики лежали в плоской деревянной коробке с крышкой, которую можно было сдвинуть в сторону, а потом задвинуть на место. Она стояла в гостиной, рядом с доской для багатели[3]. Когда взрослые принимались играть в багатель, ей

---

[3] Примечания: 3

Настольная игра, в которую играют на доске с лунками, куда нужно закатывать шарики.

приходилось вставать на табурет, чтобы все видеть, но она знала, что это были те самые шарики, потому что он однажды ей об этом уже говорил. И забыл об этом. Иногда он забывал про такого рода вещи.

— А в Килоране есть рыбак, который совсем не умеет говорить, — сказала она.

— Я знаю.

— Он пальцами разговаривает.

— Ага.

— Сразу видно, когда он хочет что-то сказать. А другие рыбаки его понимают.

— Да, такие дела. Кстати, не хочешь подержать вожжи?

В Инниселе папа купил в магазине Домвилла новые чемоданы, потому что своих было мало. Один из продавцов вышел из магазина за ними следом и сказал, что ему очень жаль. Если бы ему сказали, что так все обернется, он бы ни за что не поверил, сказал он. Не думал, что доживет до таких времен.

— Даст Бог, еще вернетесь, капитан.

Папа все кивал и ничего ему на это не отвечал, пока наконец не протянул ему руку и не назвал мистером Ботвеллом. Новые чемоданы никак не хотели умещаться в таратайке, но в конце концов

с ними сладили.

— Ну что ж, — сказал папа; в таратайку он садиться не стал, но взял Люси за руку так, что она поняла: им пора.

Он умел открывать дверь в магазине Аллена так, чтобы не зазвенел колокольчик. Он просто приоткрывал ее чуть-чуть, протягивал руку и перехватывал рычажок у притолоки, а потом распахивал дверь, и они входили. Он перегибался через стойку, снимал с полки стеклянную банку и высыпал конфеты в чашу весов. Он ссыпал их в бумажный пакет, ставил пакет обратно на весы и закрывал банку стеклянной крышечкой. Больше всего ему нравились лакричные ириски с нугой, и ей тоже. *Лимонная сладкая свежесть,* было написано на серебристых обертках лакричных ирисок.

Пока он отвешивал конфеты, ей очень хотелось смеяться, впрочем, как всегда, но она не смеялась, потому что все испортишь. Он распахивал дверь, и звенел колокольчик. «Четыре с половиной пенса», — говорил он, когда из задней двери выходила девушка с косами. «Господи, как вы меня напугали!» — говорила девушка.

Пока они ехали через город, правил он всегда сам. Он крепко держал в руках вожжи, сидел

прямо, поддергивая то одну, то другую, и время от времени перехватывал их обе одной рукой, чтобы помахать кому-нибудь.

— Что значит «и Каунти»?[4] — спросила она, когда они проехали мимо последнего магазина.

— И Каунти?

— «Дрисколл и Каунти», «Бродерик и Каунти».

— «И К.». А, это «К» значит не «Каунти», а «Компания». «И Компания с ограниченной ответственностью». «Лтд» значит «лимитед», с ограниченной ответственностью.

— А в школе это значит «Графство». «Графство Корк», «Графство Уотерфорд».

— Просто одинаковое сокращение. Сокращают слово, чтобы не делать слишком длинных надписей на карте или на вывеске.

— Смешно, что они одинаковые.

— Хочешь подержать вожжи?

В таратайке царил запах кожи, но, когда новые чемоданы привезли домой и открыли, он стал еще сильнее. Сундуки были уже наполовину собраны, они стояли раскрытыми, и крышки держались на ленточках, которые складываются, если сундук закрыть. Хенри обмерял окна, чтобы

---

[4] Примечания: 4

Каунти (County) — графство, административная единица в Великобритании и ряде других англоговорящих стран, включая Ирландию.

потом заколотить их досками.

— А кто у нас еще ни разу не катался на поезде? — спросил папа в своей обычной манере, как будто ей до сих пор было три, не то четыре годика.

Сам он когда-то на поезде ездил регулярно, по три раза в год, в школу. У него до сих пор сохранились и сундук, и сумка с написанными черной краской инициалами. Она попросила его рассказать про школу, а он сказал, что расскажет позже, в поезде. А сейчас все слишком заняты, сказал он.

— Я не хочу никуда уезжать, — сказала она, поймав маму в родительской спальне.

— Мы с папой тоже не хотим.

— Почему же тогда мы уезжаем?

— Иногда приходится делать вещи против собственного желания.

— Папа же не хотел убивать того человека.

— Это Хенри тебе рассказал?

— Ничего он не рассказывал. И Бриджит не рассказывала.

— Когда ты злишься, ты начинаешь вести себя невоспитанно, Люси.

— А я и не хочу вести себя воспитанно. Я не хочу с вами ехать.

— Люси…

— Я никуда не поеду.

Она выскочила из комнаты и побежала к своим камешкам на переправе. Они пришли за ней в лес, ходили и кричали и нашли ее в конце концов, но, что бы она им ни говорила на обратном пути, они ничего не слышали. Они не хотели слышать и даже слушать не хотели.

— Поедешь со мной на маслобойню? — спросил ее на следующий день Хенри, и она скорбно покачала головой.

— Давай попьем на лужайке чаю? — с улыбкой предложила мама.

А когда на траве расстелили скатерть и принесли лимонник, ее любимый торт, папа спросил, не проглотила ли она, часом, язык. Ей захотелось, чтобы она никогда не ездила с ним в Инниселу и не спрашивала его про уздечку и про вывески над магазинами. Они все притворялись, все время.

— Смотри, — сказал папа, — ястреб.

И она подняла голову, хотя вроде и не собиралась этого делать. В небе кружила едва заметная точка, и это был ястреб. Она смотрела на эту точку, а папа сказал: не плачь.

* * *

В спальнях больше не было слышно, как всхлипывает Китти Тереза, потому что Китти Тереза уехала, уехала домой в Дунгарван, когда выяснилось, что нового места ей найти не получится. В тот день, когда они вернутся в этот дом, она тоже вернется, пообещала она перед отъездом. Где бы она к этому времени ни оказалась, она вернется.

— Они сняли жилье, — сказала на кухне Бриджит, а Хенри взял с полки над плитой листок бумаги с написанным на нем адресом. Поначалу он вообще ничего не сказал, а потом сказал: вот, значит, как.

— Только на время, пока не оглядятся как следует, — сказала Бриджит. — А потом, сдается мне, они купят собственный дом.

На дворе Хенри распиливал доски, чтобы заколотить окна. Люси наблюдала за ним, сидя на планке, прибитой под грушевым деревом, которое разбросало ветви вдоль всей восточной стены двора, самой длинной. Какое-то время назад она начала купаться в одиночку, по пути из школы, вешала где-нибудь одежду и ранец, наскоро забегала в море и выскакивала обратно, а потом обсыхала как бог пошлет. Хенри знал;

она представить себе не могла, откуда он знает, но он знал. И если она сейчас как бы между делом выскользнет со двора, он наверняка догадается, куда она пошла. Ну, и бог с ним. Даже если он пойдет и нажалуется на нее, ей все равно. Вообще-то на него не похоже, но в последнее время столько всего переменилось, что даже и с Хенри станется.

В поле над обрывом она услышала, как в Килоране вызванивают анжелюс[5]. Иногда отсюда слышно, иногда нет. Колокола еще продолжали звучать, когда она стягивала с себя одежду на пляже. А потом перестали, когда она забежала в воду, нырнула и тут же вынырнула. Эта часть купания всегда была самой приятной — медленно брести навстречу волнам, и прохлада поднимается по коже, и кожа становится упругой, а внизу по ступням вода откатывается обратно. Она раскинула руки, толкнулась на глубину и дала отливу волю нести ее куда вздумается.

Когда она заходила в воду, пляж был совершенно пуст, из конца в конец. С моря было не очень хорошо видно, но по дороге назад она уже знала, что движущееся пятно на песке — это псина

---

[5] Примечания: 5
Католическая молитва.

О'Рейли, которая гоняется по пляжу за собственной тенью. Пес часто так развлекался; пока она смотрела в его сторону, он на секунду остановился, проверил, где она там в воде, а потом снова рванул с места.

Она перевернулась на спину. Если она решит сбежать от них, то можно будет воспользоваться короткой дорогой, о которой ей говорил Падди Линдон. «Иди по крутой стороне лощины в ту сторону, где лес выше, — повторял он, и не один раз. — Надо только идти все время в одну сторону, и рано или поздно выйдешь на дорогу».

Она снова поплыла к берегу, а когда вода стала мелкой, встала на ноги и пошла через прибой. Пес что-то вынюхивал на галечнике, и она поняла, что он уже наверняка стянул что-нибудь из одежды и даже успел припрятать украденную вещь, закопав ее в гальке или под кучей водорослей. Начав одеваться, она обнаружила, что нет нижней рубашки; она обыскала галечник и рваную линию выброшенных на берег водорослей, но так и не смогла ее найти.

Безымянного пса ругали всю обратную дорогу, и он плелся нога за ногу, льстиво заглядывая Люси в глаза, жалкий и беспомощный, пока наконец она не решила, что с него хватит. После чего

лохматой нечесаной собачьей голове было дозволено припасть к коленям Люси, чтобы получить свою долю ласки.

— А теперь домой, — приказала она и снова пришла в ярость, потому что никто и не думал ее слушаться; она проводила хулигана взглядом и решила, что она ему это еще припомнит.

У себя в комнате она возместила недостающую рубашку, забравшись в уже уложенные в сундук вещи. Он другой дорогой никогда и не ходит, говорил когда-то Падди Линдон, если направляется, скажем, на крестный ход в Дунгарван или там на воскресный херлинг[6]. Если день выдастся удачный, по дороге его нагонит чья-нибудь телега и можно будет напроситься в попутчики.

* * *

— А этот специально для тебя, — сказал папа.

Он за ним одним еще раз ездил к Домвиллу. Он был синий, не как другие чемоданы, и маленький, потому что она и сама была еще маленькая. Настоящая кожа, хоть и синяя, сказал папа, и показал, как вставляются ключи в навесной

[6] Примечания: 6

Древняя ирландская национальная игра, нечто вроде травяного хоккея.

замочек.

— Теперь самое главное, чтобы мы не посеяли ключи, — сказал он. — Может, я оставлю один у себя?

Улыбаться она не могла, а плакать не хотелось. И все ее вещи, все ее ценности как раз сюда поместятся, и кремешки, и палка-кинжал.

— А потом как-нибудь мы напишем на крышке *Л.Г.*

— Спасибо, папа, — сказала она.

— А теперь иди и уложи в него свои вещи.

Но у нее в спальне чемодан так и остался стоять пустым на стуле у окна, с запертой крышкой, и ключик, который так легко входил в замок, болтался привязанным к ручке.

* * *

— Понятное дело, — сказала Бриджит, когда ей объяснили, что может пройти какое-то время, прежде чем пришлют по крайней мере за некоторыми из оставленных в доме вещей. Были оставлены инструкции: чтобы они с Хенри хотя бы время от времени проходились по комнатам, потому что в пустых домах вещи иногда портятся сами собой. Люси все это слышала.

В прихожей уже приготовили простыни, чтобы

затянуть ими мебель. На лестничной площадке первого этажа лежала стопка вещей для благотворительной распродажи: одежда, которую решили не брать с собой. Там были и вещи Люси, как будто кто-то мог знать, что они уже наверняка ей не пригодятся.

— Ну, не надо, хорошая моя, не надо.

Мама стояла в дверях ее спальни, но Люси не подняла головы, а так и лежала, уткнувшись лицом в подушку. Потом мама подошла и обняла ее. Она утерла ей слезы, и от платка шел знакомый запах, всегда один и тот же. Все будет хорошо, сказала мама. Она обещает, что все будет хорошо.

— Мы должны попрощаться с мистером Эйлвордом, — сказал ей папа чуть позже, отыскав ее в яблоневом саду.

Она покачала головой, но потом он взял ее за руку, и они пошли через поля и вдоль по пляжу в Килоран. Пес О'Рейли стоял и смотрел на них с вершины обрыва, но ближе подходить не стал, потому что рядом с ней был папа.

— А может быть, я останусь с Хенри и Бриджит? — спросила она.

— Ну уж нет, — сказал папа.

Рыбаки раскладывали сети. Они поздоровались с ними, и папа тоже махнул в ответ рукой. Он

что-то такое заметил насчет погоды, и один из них сказал в ответ, что погода вообще эти дни стоит замечательная. Люси поискала глазами того рыбака, который говорил на пальцах, но его поблизости не оказалось.

Она спросила папу, и тот ответил, что лодка того рыбака, должно быть, еще не вернулась на берег.

— Если я останусь с Хенри и Бриджит, со мной все будет в порядке, — сказала она.

— Нет, хорошая моя, нет.

Она опять взяла его за руку и отвернулась, чтобы он не понял, что она старается сдержать слезы. Когда они дошли до школы, он поднял ее так, чтобы она могла заглянуть в окошко. В классной комнате все было чистенько и аккуратно, потому что каникулы, и все осталось так, как велел мистер Эйлворд, — четыре пустых стола, скамейки придвинуты к ним вплотную, таблицы развешаны по стенам. *Байонеты придумали в Байонне. Сидр — это яблочный сок.* Доска была чистой, и тряпка, аккуратно сложенная, приткнулась рядом с коробочкой с мелом. Глянцевые карты — реки и горы, графства Ирландии и Англии — лежали на полке свернутыми в рулоны.

— Нам потребуется какое-то время, — сказал

папа дома у мистера Эйлворда, кивнув головой в ее сторону, и она поняла, что под этим «мы» он вовсе не имел в виду всех троих членов своей семьи.

— Ну да, конечно, — сказал мистер Эйлворд. — Само собой.

— По правде говоря, — сказал папа, — на душе у меня кошки скребут.

Но, с другой стороны, что еще ему оставалось делать, спросил он у мистера Эйлворда, когда он увидел эти три тени и знал при этом, что где-то у них припрятаны канистры с бензином и что, кем бы они ни были, один из них отравил его собак? Он был сам не свой, когда нажимал на курок, да еще и в темноте, сказал папа. Неудивительно, что из него так и не вышло хорошего солдата.

— Любой мужчина на вашем месте сделал бы то же самое, — сказал мистер Эйлворд.

Одна их лахарданских овчарок и раньше забредала на отравленную землю, сказал как-то раз Хенри; в тот раз она не сдохла, но тем не менее. Хенри тоже хотел, чтобы все было хорошо, и тоже притворялся, как все.

— А вы, барышня, не забывайте про стихи, — сказал мистер Эйлворд. — У нее здорово получается заучивать стихи наизусть, капитан.

— Она у нас славная девчушка.

Мистер Эйлворд поцеловал ее на прощание. Папа допил то, что было у него в стакане. Они пожали друг другу руки, и мистер Эйлворд сказал, что ничем другим это кончиться не могло. Потом они ушли.

— А зачем они приносили с собой бензин? — спросила Люси.

— Когда-нибудь я и об этом тебе расскажу.

Они прошли мимо рыбаков, которые уже успели разложить сети и теперь чинили их. На том самом месте, где стояли женщины, когда не вернулась «Мери Нелл». Когда она шла в школу, женщины уже были там, и когда она шла обратно, они по-прежнему там стояли, в туго замотанных черных платках, так что лиц было почти не разглядеть. Шторм, который потопил «Мери Нелл», давно уже кончился, и вовсю сияло солнышко. *«Ниспошли нам благословение Твое,* — молились они вместе с мистером Эйлвордом, — *дабы спасены они были и избавлены от смерти в пучине».* Но в тот же самый день они услышали, как причитают женщины. Никто из рыбаков не пришел с моря, никто не спасся, потому что балликоттоновскую спасательную шлюпку прибило к берегу пустой. На берег вымыло разбитые доски

и драные куски парусины, щепки от мачты и палубы — и ни единого тела. «Море людей не отдает, — сказал Хенри. — И никогда не отдавало». Когда гибнет судно, акулы сплываются со всех сторон, за многие мили вокруг.

Когда они с отцом проходили мимо рыбаков, Люси показалось, что она снова слышит женский плач, скорбные причитания, которые доносятся из-за половины здешних дверей, — безнадежное эхо страшных времен, которое вернулось в другие времена, не менее страшные. Веселье, которое теперь заглядывало порой в Лахардан, было не настоящим и длилось ровно столько, насколько у всех хватало сил притворяться.

— Я не хочу уезжать из Лахардана, — сказала она отцу на пляже.

— Видите ли, леди, нам этого тоже совсем не хочется.

Он наклонился и поднял ее, совсем как в те времена, когда она была маленькой. Он вытянул руки над головой и велел ей поглядеть, не видно ли где в спокойном, тихом море того рыбака, который умеет говорить на пальцах, но она, конечно, никакой рыбацкой лодки не увидела да и не могла увидеть. Он опустил ее обратно на землю и стал писать камешком на песке. *Люси*

Голт, написал он.

— Очень красивое имя.

Они вскарабкались на обрыв в том месте, где подъем был полегче, и вышли на поле, соседнее с реповым полем О'Рейли; в прошлом году здесь рос ячмень. Когда мистер О'Рейли убирал здесь урожай, любой, какой бы ни вырос, он всегда махал Люси рукой.

— Почему нам обязательно нужно уезжать? — спросила она.

— Потому что они не хотят, чтобы мы здесь жили, — ответил папа.

* * *

Хелоиз написала в свой банк, в Англию, объяснила, что произойдет в ближайшем будущем, и попросила посоветовать, что ей делать с деньгами, которые все были вложены в различные предприятия, входящие в железнодорожную компанию «Рио Верде». Ее семья вот уже на протяжении нескольких поколений была связана с этой весьма солидной компанией, но в нынешних обстоятельствах — поскольку теперь, по крайней мере на какое-то время, ее наследственный капитал будет играть значительно более важную роль в ее собственной жизни, а также и в жизни

ее мужа и ребенка, — такого рода пробный запрос не казался ей неуместным, и ответ из банка только подтвердил его своевременность. Железнодорожная компания «Рио Верде», которую на протяжении долгих восьмидесяти лет существования отличали устойчивость и финансовые успехи, в последнее время начала выказывать признаки того, что, вполне вероятно, могло оказаться предвестием определенной стагнации, коммерческого застоя. Хелоиз порекомендовали пересмотреть вложение всего, или, по крайней мере, значительной части капитала, который так долго верой и правдой служил ее семье.

Капитан съездил в Инниселу и попросил своего адвоката и старого друга Алоизиуса Салливана, который разбирался в финансовых тонкостях ничуть не хуже, чем в юридических, подтвердить или опровергнуть этот совет. Салливан разделял мнение банка: у «Рио Верде» колоссальный коммерческий опыт и немалый резервный фонд, так что в одночасье они никак не обанкротятся, но, даже и принимая во внимание все эти обстоятельства, он бы посоветовал сформировать более разнообразный портфель ценных бумаг.

— Впрочем, нет особого смысла забивать себе этим голову до отъезда, — отрапортовал капитан

Голт, вернувшись в Лахардан. Опять же, в полном соответствии с информацией, полученной из банка, адвокат уверяет, что нужды в какой-то особенной спешке нет.

Они поговорили об Англии, о множестве других вещей, сугубо практических, о которых придется позаботиться чуть позже, когда слегка улягутся разыгравшиеся чувства. Там у них будет совершенно другая жизнь! — подумали оба, но никто не сказал этого вслух.

* * *

В длинном чулане рядом с входом в погреб висели в рядок соломенные рыбные корзины. Они были плоские и не слишком вместительные, так что Люси взяла две, по одной за раз, и не в один день. Из ларя в кладовке она брала хлеб, в первый раз это была краюшка белого, потом ржаного или ситного, любой кусок, пропажа которого не бросится в глаза. Она заворачивала их в магазинную оберточную бумагу, которая хранилась в ящике кухонного буфета. Она заполнила сперва одну корзину, потом другую пакетиками, яблоками, зеленым луком и той едой, которую она тайком убирала с собственной тарелки в столовой, когда никто на нее не смотрел. Корзины она держала

во дворе, в сарае, в который никто не заглядывал, под развалившейся садовой тачкой.

В стопке сложенных на лестничной площадке вещей она нашла себе юбку и джемпер. И замотала их в узел, в старое черное мамино пальто: по ночам будет холодно. Никаких лишних звуков, кроме шороха тряпок, на площадке она не слышала, и никто не встретился ей по дороге, когда она шла по задней лестнице, и потом, на собачьей дорожке.

* * *

В последний день перед отъездом, после обеда, капитан Голт со смутным чувством невыполненного долга решил разобрать бумаги. Но занятие это оказалось на удивление нудным, и, оставив его, он взамен взял винтовку, из которой стрелял в поджигателей. Разобрав ее, он тщательно вычистил и смазал все ее детали, как будто предчувствуя, что в будущем она ему понадобится, хотя везти ее с собой в Англию не собирался.

— Вот так, одно к другому, все и наладится, — бормотал он себе под нос не раз и не два. Отъезд, приезд, мебель, которая когда-нибудь снова встанет вокруг них на свои места, — время и обстоятельства так или иначе расставят все по

порядку, и жизнь наладится, как наладилась она уже у многих беженцев.

Он усилием воли усадил себя обратно за бумаги и постарался сделать все, что только можно было сделать.

* * *

Хелоиз затянула на уложенных сундуках кожаные ремни и прикрепила к ним заранее написанные ярлычки. Думая о том, увидит ли она еще хоть раз те вещи, которые остаются в доме, она принялась раскладывать шарики камфары по ящикам и шкафам, по рукавам и карманам.

Стояла самая бестолковая часть дня. Какими бы треволнениями ни было заполнено утро и чем бы этот день ни отличался от других дней, в это время в нем всегда стояла тишина. Пока не наступит вечер, не будет ни стука кастрюль, ни граммофонной музыки в гостиной, ни звука голосов. Хенри сносит вниз уложенные сундуки и чемоданы, и по нему ни в жизнь не догадаться, какая скорбная это для него работа. Бриджит расстелила на кухонном столе гладильное одеяло, чтобы отутюжить воротнички, которые понадобятся капитану в дорогу. В глубинах кухонной плиты только-только начали накаляться стани-

ны для утюга.

* * *

Когда Люси прошла мимо открытой двери на кухню, Бриджит даже не подняла головы. Хенри во дворе не было. Шумно было только в саду: стоило ей войти в калитку, и из-под яблонь с граем взлетели потревоженные грачи.

Она пошла вверх по склону, как советовал Падди Линдон, зная, что Хенри может отправиться искать ее по более простому маршруту, через лощину. Она не знала, сколько времени займет у нее дорога в Дунгарван; у Падди Линдона со временем вечно были нелады. Она не знала, где там искать дом Китти Терезы, но люди, которые рано или поздно встретятся ей и подвезут, наверняка знают. Китти Тереза наверняка скажет, что отвезет ее обратно к родителям, но это будет уже не важно, потому что тогда все переменится: все то время, пока Люси готовилась к побегу, она знала, что все будет именно так, а не иначе. Как только они обнаружат, что ее нет дома, как только до них дойдет, что случилось, все переменится. «У меня у самой просто сердце на части разрывается, — сказала мама. — И у папы. У папы тем более». Когда Китти Тереза привезет ее домой, они скажут, что

всегда знали, что уезжать им не следует.

Она прошла мимо поросшей мхом скалы, которую помнила по одной из своих прошлых вылазок, потом поваленное дерево, совсем незнакомое, с острыми обломанными сучьями, на которые можно напороться, если идешь в темноте. Сейчас темно не было, а было скорее сумеречно, как всегда бывает в чаще. Но скоро стемнеет, через час или около того, и до той поры нужно обязательно выйти на дорогу, хотя наверняка до утра по ней уже никто на телеге не поедет. Она прибавила шаг и почти сейчас же споткнулась и упала всем телом, лицом вперед, застряв ногой в норе. Резкая боль пронзила ее, когда она попыталась согнуть ногу в колене. Встать она так и не смогла.

* * *

— Люси! — выйдя во двор, крикнул капитан Голт. — Люси!

Ответа не последовало; он вернулся в дом и крикнул Хенри через гостиную, в которую из углов уже наползала понемногу полумгла.

— Если увидишь Люси, скажи ей, что я пошел попрощаться с тем рыбаком, которого мы с ней в прошлый раз не застали.

По аллее, а потом по дороге, сказал он, обратно через пляж.

— Скажи, что я не буду возражать, если она составит мне компанию.

Выйдя на площадку перед домом, он еще раз позвал ее по имени, прежде чем отправиться в путь.

* * *

— Да вроде недавно тут была, — сказала Бриджит. — Где-то здесь я ее видела.

Ничего необычного в этом не было; Люси довольно часто куда-нибудь исчезала. Встретив Бриджит на лестнице, Хелоиз задала ей этот вопрос, но безо всякого особого беспокойства. Может, отправилась, предположила Бриджит, попрощаться с этой О'Рейлевой псиной.

— Мне хорошо было жить в одном доме с вами, Бриджит, — выдалась спокойная минута, и Хелоиз не слишком спешила вернуться к разложенным в спальне чемоданам. — Все эти годы мне была очень нужна ваша поддержка.

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы никуда не уезжали, мэм. Чтобы все сложилось по-другому.

— Я знаю. Знаю.

* * *

По пути через подъездную аллею капитан думал о том, как должны сложиться обстоятельства, чтобы ему еще раз выпало удовольствие ходить по этому длинному тенистому коридору из сплетшихся ветвей, которые почти не пропускали солнечного света. По обе стороны разрослась, как могла, некошеная трава, с желтыми пятнами одуванчика, с полуувядшими буйными порослями наперстянки в тени деревьев. Он постоял немного у сторожки, где и после их отъезда будет продолжаться жизнь. Теперь, когда черта была подведена, ему уже не казалось, что он еще когда-нибудь сможет привезти свою семью обратно в Лахардан. Это предчувствие явилось нынче вечером из ниоткуда, незваным эхом всего того, в чем он в эти последние несколько дней никак не желал себе признаться.

За воротами аллея выходила на светлый глинистый проселок, и он свернул налево; жимолость уже набила ягоды и совсем не пахла, в живой изгороди цвели сентябрьские фуксии. Им не долго придется рассчитывать только на капитал Хелоиз. Он смутно видел себя сидящим в конторе какого-нибудь торгового пароходства, хотя, чест-

но говоря, не слишком представлял себе, чего должна требовать от человека работа в такого рода местах. Впрочем, это не слишком важно, он возьмется за любую достойную работу. Время от времени они будут наезжать сюда, просто для того, чтобы взглянуть, как здесь идут дела, чтобы не прерывалась связь. «Это не навсегда», — сказала вчера вечером Хелоиз и принялась говорить о том, как они будут заново открывать окна, снимать чехлы с мебели, растапливать камины, выпалывать сорняки на клумбах. И он тоже сказал, нет, конечно, не навсегда.

В Килоране он поговорилс глухонемым рыбаком, так, как научился еще в детстве: делать побольше жестов и отчетливо проговаривать слова. Они попрощались. «Не так чтобы очень надолго». — Он оставил за спиной выговоренное одними губами обещание и почувствовал, что даже и оно прозвучало фальшиво. Он постоял немного над обрывом, где росли пучки полевых гвоздик. Поверхность моря была подернута легкой рябью бликов от последнего, отраженного небом закатного зарева. Набегала тихая волна, почти без пены. И больше — ни единого движения до самого горизонта.

Правильно ли он сделал, что не сказал ни

Хелоиз, ни дочери о своем предчувствии: что вернуться никак не получится? Не следовало ли ему еще раз съездить к той семье в Инниселу и еще раз попытаться договориться с ними? Может, нужно было предложить им сумму большую, чем он назвал, любые деньги, которые могли бы возместить причиненный им ущерб, и при этом признать, что вся вина за ночное происшествие лежит на нем, а не на этих троих нарушителях границ чужой собственности? Спускаясь вниз на галечник, скрипя камушками под ногой по дороге к песчаному пляжу, он никак не мог найти ответа на эти вопросы. Не мог он их найти и позже, когда шел по пляжу, останавливаясь время от времени, чтобы бросить взгляд на пустынное море. Он мог бы сказать себе, что в этот последний вечер он слишком легко и беззаботно предал собственное прошлое, а затем, по накатанной, предал также и дочь и жену. Из них троих он ближе всех был к этим местам и людям, и его любовь к этой, считай, уже брошенной земле, и к дому, и к саду с огородом, и к морю, и к морскому берегу должна была подсказать ему правильный путь, направить его, помимо воли, не принимая в расчет никаких разумных доводов. Однако, роясь в глубинах собственной души, он не находил

чувства, которое смогло бы повести его за собой, а только нерешительность, только смятение.

Он развернулся и пошел к обрыву, и под ногами снова захрустела галька. Его дом, которого поначалу не было видно, вскоре показался из-за деревьев, и в окне на верхнем этаже горел свет. Он запнулся ногой обо что-то, лежащее на камнях, и нагнулся, чтобы подобрать с земли находку.

* * *

— Люси! — позвала Хелоиз, а Хенри сказал, что она могла побежать вслед за отцом. Он ее не видел и не передавал ей того, что велел сказать капитан, но она в последние дни вообще сама не своя, так что, может быть, как раз пряталась где-нибудь во дворе и сама все слышала. Она вообще уже три дня ни с ним самим, ни с Бриджит даже слова не сказала. Так что, если прикинуть, как оно все складывается, нет ничего удивительного в том, что она не вернулась домой к чаю.

Хелоиз слышала, как он зовет Люси во дворе, ищет ее по сараям и навесам. «Люси!» — кричала она сама сперва в саду, потом на выгоне, через который шла обратная дорога от О'Рейли. Она постояла за калиткой в беленой изгороди, которая отделяла поля от площадки перед домом.

Потом пошла, хрустя гравием, через площадку на гортензиевую лужайку.

Это имя лужайке дала именно она, точно так же, как выяснила когда-то, что поля в Лахардане тоже раньше имели свои имена: Длинный луг, Клеверный склон, Джон Джо, Поле у реки. Ей всегда хотелось, чтобы эти названия снова вошли в обращение, но никому, кроме нее, это было не интересно. Гортензии буйно цвели, и даже в темнеющих сумерках их голубая кипень была различима вдоль всей идущей полукругом каменной ограды. Ей всегда казалось, что это — самая милая из всех присущих Лахардану особенностей.

— Люси! — крикнула она в самую гущу деревьев. Потом постояла и послушала тишину. Потом пошла в лес и минут через двадцать вышла к тропинке, которая вела к камням на переправе через ручей.

— Люси! — крикнула она. — Люси!

Она выкрикивала имя дочери и позже, вернувшись домой, когда открывала двери давным-давно запертых комнат и карабкалась по лесенкам на чердаки. Затем спустилась вниз. Остановилась у открытой входной двери и тут услышала, как возвращается муж. Она знала, что он возвраща-

ется один, потому что голосов слышно не было. Она слышала, как отворилась и снова закрылась калитка, в которую она недавно выходила, как легла на место щеколда.

— Люси с тобой? — Она еще раз напрягла голос, чтобы задать вопрос издалека.

Его шаги по хрусткому гравию вдруг замерли. Он был едва различим в темноте, одна только тень.

— Люси? — сказала она.

— А разве Люси не здесь?

Он так и остался стоять там, где остановился. В руке у него было что-то белое, и луч света от лампы падал на это что-то через открытую входную дверь.

2

— Матерь Божья! — прошептала Бриджит и побелела как полотно.

— Вот я тебе и говорю, — медленно сказал Хенри. — Они ходили на пляж, сказал он. Сперва капитан прошел через поля, а потом они оба вернулись вниз, на пляж. Он нашел ее вещи. Как раз был отлив, а он шел из Килорана. Вот так он и сказал.

Да нет, не может такого быть, сказала Бриджит. Не может такого быть, как он говорит.

— Матерь Божья, не может такого быть!

— Отливом все должно было унести. Кроме того, что застряло в камнях. У него в руке была какая-то тряпка… — Хенри запнулся. — Мне когда еще казалось, что она бегает купаться в одиночку. Если бы я точно ее на этом подловил, уж конечно бы сказал им.

— А может, она там где-нибудь, в камнях? Она все эти дни просто сама не своя. Может, пошла туда, ну, где она креветок ловит?

Хенри ничего на это не сказал, а потом Бриджит и сама покачала головой. Зачем ребенку снимать на пляже одежду, как не для того, чтобы иску-

паться в море в последний раз перед отъездом?

— И я вот тоже думала, — сказала она. — Волосы у нее иногда были как будто влажные.

— Пойду спущусь вниз. Отнесу им фонарь.

Оставшись одна, Бриджит стала молиться. Когда она сложила руки вместе, ладони оказались совсем холодные. Она молилась вслух, захлебываясь слезами. Через несколько минут она пошла за мужем следом, через двор и через яблоневый сад, на выгон, а потом вниз, на пляж.

* * *

Они смотрели сквозь темноту в пустое море. Они не говорили ни слова, но стояли близко друг к другу, так, словно боялись вдруг остаться в одиночестве. Волны ласково шуршали о песок, море наступало, всякий раз чуть выше прежнего, — прилив.

— Ой, мэ-эм, мэ-эм! — Голос у Бриджит был резкий, и шумный шаг по каменистой осыпи, прежде чем она вышла на песок. Если бы она чуть раньше подумала, причитала Бриджит, и слова наскакивали одно на другое, а черты лица в неровных вспышках фонаря, который держал Хенри, вообще, казалось, принадлежали другой какой-то женщине.

Капитан Голт и его жена растерянно обернулись ей навстречу. Может, хоть в этой бессмыслице вдруг обнаружится зернышко надежды, которой иначе взяться просто неоткуда? В секундном замешательстве оба подумали именно об этом, о единственной надежде.

— Нет, мэм, вы не подумайте, она ни полслова об этом не говорила. Просто нам с Хенри вроде как казалось. Как же это мы вам, сэр, сразу про это не сказали.

— О чем не сказали, Бриджит? — В голосе у капитана была усталая вежливая нотка и терпение, он ждал, когда закончится эта неуместная сцена: вдруг вспыхнувшее ожидание уже успело обернуться — ничем.

— Я просто замечала иногда, что волосы у нее вроде как влажные, когда она приходит из школы.

— Она купалась?

— Если бы мы наверное это знали, мы бы вам сказали.

Повисла пауза, потом капитан Голт сказал:

— Вы ни в чем не виноваты, Бриджит. Никому подобное даже и в голову никогда не придет.

— То незабудковое платье, в котором она была, да, сэр?

— Нет, не платье.

Летняя рубашка, сказала Хелоиз, и в полном молчании они снова пошли туда, где капитан нашел рубашку.

— Мы все время ей врали, — сказал капитан по дороге.

Хелоиз сперва не поняла этой его фразы. Потом она вспомнила, как они обнадеживали ее и давали ей обещания, зная, что навряд ли смогут эти обещания выполнить. Непослушание было единственным оружием, доступным ребенку, а обманывать они начале первыми.

— Она же знала, что я пойду с ней купаться когда угодно, — сказал капитан.

Кусок топляка, за который зацепилась та вещь, что нашел капитан, лежала на прежнем месте, смутно белея в темноте. Хенри поводил вокруг фонарем, пытаясь обнаружить еще что-нибудь, но безрезультатно.

Ошибка, которая отвела глаза капитану и его жене как будто обрела способность разрастаться и поглощать события и обстоятельства одно за другим — так что никто даже и не пытался увидеть в ней ошибку. Они, конечно, обыскали дом, надворные постройки сад, огород. Хотя ничто не указывало на то, что в такое позднее время

девочка могла оказаться в лесу, сходили в лес и покричали ее там; потом отправились на кухню к О'Рейли. Оставалось одно только море. Отрицать обоснованность его претензий на главную роль в разыгравшейся трагедии казалось уже немыслимым и неуместным: факты настойчиво свидетельствовали именно в его пользу.

— Хенри, проводишь меня в Килоран? Попробуем взять у них лодку.

— Да, сэр, конечно.

— Оставь фонарь здесь.

Мужчины ушли. Несколько часов спустя, на каменистой косе, которая рассекала надвое длинный песчано-галечный пляж, между мелководными лагунами, где обычно ловили креветок, оставшиеся в Лахардане женщины нашли детскую сандалию.

* * *

Рыбаки из Килорана узнали о пропаже на заре, когда пришли с ночной рыбалки. Они сказали, что ничего со своих лодок ночью не видели и не слышали, но в их разговорах между собой как-то само собой всплыло старое местное суеверие. Акулы, которые сплываются на запах беды, дают добраться до берега разве что щепкам и прочей

мелочи; рыбаки тоже оплакали смерть живого и здорового ребенка.

* * *

Прибрежные скалы уходили каждый день под воду и появлялись снова, окатанные волнами и обросшие ракушками, которые все более плотным слоем скрывали то, что когда-то было поверхностью камня; вот так же время вылепило из кажимостей — истину. День уходил за днем, складываясь в недели, и ни в один из них гладкая, основанная на ложном допущении поверхность ничем не была потревожена. Погода стояла чудесная, летняя, и ни знаком, ни намеком не давала понять, что люди поверили в обманку. Непарная сандалия, обнаруженная среди камней, выросла в набухший водой образ смерти; и так же, как в Килоране звуки женского поминального плача на причале означали смерть от воды, в Лахардане смерть от воды поминали молчанием.

Капитан Голт больше не просиживал ночи напролет у окошка в верхнем этаже, он уходил к обрыву и смотрел в пустынное темное море, проклиная себя, проклиная собственных предков, которым деньги ударили в голову, вот они и решили построить дом на пустынном морском

берегу. Иногда безымянный пес О'Рейли набирался смелости и приходил постоять с ним рядом, опустив голову, так, словно чувствовал грызущую капитана тоску и сопереживал ей. Капитан его не прогонял.

Что здесь, что в доме всякое воспоминание означало печаль, а мысль не несла утешения. Им не достало времени, чтобы выгравировать ее инициалы на синем чемоданчике, но разве не было у них отныне времени хоть отбавляй, разве оно не тянулось бесконечно и каждый новый день с идущей за ним длинной и тягостной ночью разве не весил ничуть не меньше века?

«Девочка ты моя! — шептал капитан, глядя, как занимается очередная заря. — Девочка моя, прости меня, пожалуйста».

* * *

Пытка Хелоиз была разнообразней. Не желающие оставаться в прошлом, вульгарнейшим образом напоминающие о себе в самый разгар страдания, счастливые годы замужества казались ей теперь верхом эгоизма. Во всем доме не было ни единой комнаты, в которую она когда-то не заходила невестой и где бы не витали самые желанные еще недавно воспоминания: о граммо-

фонной мелодии, под которую они с Эверардом танцевали, и его руки так легко лежали на ее талии, о ленивом тиканье часов в гостиной, где они читали у камина, подвинув к огню диван с высокой спинкой, а на решетке трещали поленья. Он вернулся с войны разочарованный, но зато, по крайней мере, живой. Ребенок рос; Лахардан давал средства к существованию, он же диктовал и стиль жизни. И все же, если бы Эверард женился на другой женщине, безжалостная цепочка причин и следствий даже и не начала бы разворачиваться — от этой мысли спрятаться было попросту невозможно.

— Нет-нет, — принимался возражать он, пытаясь переадресовать вину за случившееся кому-то другому. — Приди они еще раз, я бы целился наверняка.

И они оба еще раз переживали то утро, когда во дворе лежали две отравленные овчарки, холодные на холодных камнях. И снова Хенри разравнивал граблями камушки, там, где на гальке остались пятна крови.

«Что еще мы можем объяснить?» — шептала Хелоиз, но чувство вины не утихало — она слишком многого не успела объяснить дочери.

* * *

— Я вот и думаю, а теперь-то они станут уезжать или нет? — задалась вопросом Бриджит, когда, по прошествии достаточно большого отрезка времени, приготовления к отъезду так и не возобновились. — У меня такое чувство, что им теперь все равно, что с ними будет.

— А разве все не решено?

— Ну, теперь-то все по-другому.

— То есть хочешь сказать, позовут обратно Китти Терезу? А с ней и Ханну?

— Я ничего не хочу сказать, чего не знаю. Я только хочу сказать, что не удивлюсь, как бы дело ни обернулось.

Бриджит всегда верила в то, что рано или поздно, когда в стране немного утихнет и насчет раненого удастся договориться о какой-никакой компенсации, капитан и его жена вернутся в Лахардан. Ей хотелось верить, что именно так и будет, и то обстоятельство, что стадо никто не собирался продавать, служило ей решающим аргументом.

— Да, наверное, ты права, — сказал Хенри. — Наверное, теперь они и в самом деле никуда не поедут.

* * *

Все необходимые формальности были улажены с возможным тщанием, так, как только позволяли обстоятельства. В поданном капитаном заявлении было практически невозможно отследить намек на какие бы то ни было чувства, но чиновник из регистрационного бюро, который приехал в Лахардан, чтобы его заверить, был очень тронут и всячески выражал свое сочувствие.

— Чего еще мы здесь ждем? — спросила Хелоиз после того, как он уехал. — Если и в самом деле правда то, во что верят рыбаки из Килорана, все кончено. А если они ошибаются, то для меня это такая жуть, что лучше просто ничего не знать. Если я в этом смысле сильно отличаюсь ото всех остальных матерей, если они бы на моем месте всю оставшуюся жизнь ползали по галечнику и между лагунами в надежде отыскать еще какую-нибудь ниточку или ленточку, которую они, может быть, вспомнят, значит, я действительно очень сильно от них отличаюсь. Если я бесчувственная, если я человек слабый и во мне живет страх, природы которого я не понимаю, значит, я и в самом деле бесчувственная. Но, при всем моем

бессердечии, я не смогу однажды выглянуть в окно и увидеть, как белеют на пляже кости моего ребенка, — и понять все, что с ней случилось.

Горе связывало их, оно же и разъединяло. Один принимался говорить, другой едва его слушал. Каждый спешил повернуться спиной к бесполезному и ненужному сочувствию. И никакое предчувствие не помогло им в эту страшную пору — ни внезапное прозрение, ни голос во сне. Хелоиз уложила остатки багажа.

За прошедший мертвенно-тусклый отрезок времени она успела дать телеграмму в свой банк с просьбой перевести ее пакет акций «Рио Верде» в банк мужа, в Инниселу. Она сказала ему об этом, когда он собрался ехать к Алоизиусу Салливану, обговорить вновь открывшиеся обстоятельства.

— Господи, зачем же отсылать их нам именно сейчас? — удивленно воззрился на нее капитан. — В этакую даль, когда мы вот-вот уедем отсюда?

Хелоиз ничего ему на это не сказала. Вместо ответа она написала расписку, которая давала ему право получить их на руки вместо нее.

— Просто мне так захотелось, — сказала она, отдав ему бумагу.

Эта эксцентрическая выходка не давала капитану Голту покоя все то время, пока он выполнял

поручение жены. Не окажется ли в конце концов, что шок от пережитого, все это безумие, оставит после себя след столь же кошмарный, как и сами события минувшего лета? Подвергнуть ценные бумаги, и безо всякой на то необходимости, риску почтовой доставки, а затем еще всем возможным неожиданностям обратного путешествия на тот самый остров, с которого они только что прибыли. Перераспределение пая можно было осуществить без какой бы то ни было передачи документов; одних только указаний Хелоиз уже было бы вполне достаточно. В письме, где банк выражал свое отношение к будущему железнодорожной компании, это было оговорено достаточно ясно.

В Инниселе его так и подмывало отдать обратно полученный увесистый конверт и попросить переслать его, со всеми возможными предосторожностями, на адрес отправителя; объяснить, что произошла ошибка, вполне простительная в сложившейся ситуации. Но он этого не сделал, он не вернулся в Лахардан с нелепым, на ходу придуманным объяснением случившегося. Вместо этого он вручил ей то, что получил в банке, вместе с наилучшими пожеланиями от Алоизиуса Салливана. Содержимое конверта было внима-

тельнейшим образом изучено, но, в ответ на добрые пожелания от поверенного, он получил всего лишь кивок, так, словно они не представляли для нее ровным счетом никакого интереса, хотя Хелоиз всегда была как-то по-особенному привязана к Алоизиусу Салливану.

В тот вечер они могли бы пройтись вдвоем по дому, по саду с огородом, в поля. Но капитан Голт ничего такого ей не предложил и не пошел сам, как неизменно делал прежде. Яблони, пчелы в ульях, коровы, которые всегда были предметом его гордости, по-прежнему тянули его к себе, но жена значила гораздо больше. Если то, что ему показалось, соответствовало действительности, это была бы последняя, самая горькая капля.

Тихий и мрачный, он пил в одиночестве и пытался не думать о том, что во всем этом можно отследить ниспосланную свыше кару. Иначе с чего бы вдруг брат пошел на брата, и в одночасье этот глухой утолок превратился в преддверие ада? Он даже и не догадывался о том, что его страшные раздумья о тяготеющем над здешними местами проклятии имеют к истинному положению вещей столь же отдаленное отношение, как и ложная уверенность в причинах, по которым погибла дочь. Случай, а не гнев небес правил в то

лето судьбой семьи Голтов.

* * *

В поезде Хелоиз молчала до самого Дублина. Она ненавидела проплывающие мимо окна поля и холмы, леса и рощи, молчаливые развалины так же сильно, как ненавидела оставшийся позади берег моря. Единственное, чего ей сейчас хотелось, — так это навсегда избавиться от пейзажей, которые когда-то приводили ее в восторг, от лиц, которые ей улыбались, и от голосов, которые звучали так по-дружески, так мягко. Снятая на время вилла в сассекском пригороде была отсюда недостаточно далеко; она уже не первый день думала об этом, но вслух не говорила. А теперь сказала.

Капитан выслушал ее. То обстоятельство, что жена, которую он тринадцать лет назад привез в Лахардан, теперь мечтала только о том, чтобы покинуть эти места, и ехать, ехать куда глаза глядят, все дальше и дальше, пока наконец какой-нибудь поезд не завезет их в такие места, где чужаки не вызывают ни пересудов, ни любопытства, — это он вполне мог понять и принять. Тихое семейное счастье в любезной сердцу Англии, которое когда-то рисовалось им обоим, теперь трудно было

бы себе вообразить.

— Но сассекский адрес — единственный, который мы оставили, — сказал он просто потому, что должен был хоть что-то сказать.

Но ни Сассекс, ни тамошние пригороды с виллами, ни английская тишь да гладь больше его не беспокоили. А беспокоило его лицо жены, которое за последние дни сделалось совсем прозрачным, и то, как она смотрела на пейзаж за окном — остановившимся взглядом, и ее неживой голос, и руки, сложенные, как у статуи. Но даже и при всем этом он вдруг почувствовал некоторое облегчение. Телеграмма в банк не была результатом внезапного помрачения рассудка: Хелоиз всего лишь хотела как можно плотнее закрыть дверь в прошлое. Те бумаги, которые он привез ей из Инниселы и которые ехали теперь в багаже, должны были доставить им средства к существованию, где бы ни закончилось их путешествие.

— Куда угодно, — сказала она. — Куда угодно.

Из Дублина, с вокзала Кингз Бридж, капитан Голт отправил телеграмму, отменяющую договор об аренде дома в Англии. Когда он поставил последнюю точку, они сами стали островом: остров с багажом.

— Мы с тобой заодно, — сказал он; хрупкость душевного равновесия Хелоиз по-прежнему беспокоила его, но теперь у них был общий настрой, связанный с природой нынешнего бегства, с желанием затеряться, сбить память со следа. Он хотел успокоить ее, поэтому так и сказал.

Хелоиз не ответила, но потом, когда они ехали через город в порт, сказала:

— Странно, что мы с тобой ничуть не расстраиваемся из-за отъезда. А когда-то одна только мысль об этом казалось невыносимой.

— Действительно странно.

Таким вот образом, в четверг двадцать второго сентября 1921 года, капитан Голт и его жена покинули свой дом и, сами того не зная, еще и собственного ребенка. В Англии перед ними промелькнула безликая череда городов и сельских пейзажей. Все эти церковные шпили и деревенские дома, последние цветы душистого горошка в крохотных палисадниках, плети вьющейся по старательно натянутым проволочкам фасоли, прощальные фейерверки герани могли им встретиться и в какой-нибудь другой стране. Когда началась Франция, она и была — какая-то другая страна, хотя они и провели там несколько дней. *Мы уехали за границу*, написал капитан Голт

своему поверенному в Инниселе, — одно из трех предложений на листе гостиничной почтовой бумаги.

3

Прежде чем закрыть мебель старыми простынями, которые она никогда даже и не думала выбрасывать, Бриджит как следует ее отполировала. Она вымыла окна перед тем, как Хенри забил их досками. Она отскребла ступеньки заднего крыльца, с которого сняли дорожку, и плитку на полу собачьей дорожки. Она упаковала стеганые и тканые одеяла.

Утром, когда в сумеречном доме уже не осталось никаких дел, за исключением тех, что в буфетной и на кухне, где по-прежнему царил свет солнца, Хенри прошелся с фонарем по верхним комнатам. Воздух почему-то уже успел застояться. Вечером дом нужно будет закрыть.

Настроение у обоих было подавленное. Каждый день, с тех пор как уехали Голты, они ждали, что вот-вот придет из деревни рыбак и скажет: сегодня они что-то зацепили сетью или веслом. Но никто не шел. А если придет, захотят ли Голты об этом знать? Бриджит никак не могла решить, а Хенри только качал головой, не в силах ответить на этот ее вопрос.

В прихожей он снял с лампы абажур и при-

крутил фитилек. В молочной кладовке вымыл емкости, которые рано утром привез с маслобойни.

— Пойду починю ограду! — крикнул он Бриджит, когда та появилась на заднем крыльце, и увидел, что она ему кивнула издалека.

Он подумал, а как бы он сам чувствовал себя, если бы вернулся сейчас в дом и сел ужинать, зная, что это в последний раз. Она готовила на ужин кусок копченой свиной грудинки.

Овчарки выскочили во двор, едва Хенри свистнул, и Бриджит смотрела, как они толкутся у него за спиной, когда он зашагал прочь.

— Все будет в порядке, — сказала она погромче, так, чтобы он услышал.

— Вот и мне кажется, что все устаканится, — сказал он.

У Бриджит не было ощущения, что она молилась зря. Она молилась, и этого вполне достаточно, а то, что Он ее не услышал, на то Божья воля. Все будет так, как назначено; и не смириться с этим нельзя, потому что по-другому все равно никак не будет. Когда-нибудь, в самый неожиданный момент, к сторожке придет старая Ханна, а может быть, даже и Китти Тереза, хотя она теперь и живет бог знает где. Хотя, с другой стороны,

навряд ли Китти Тереза захочет к ним сюда наведаться. После всего, что Бриджит ей наговорила перед отъездом, нет, это, пожалуй, для нее будет слишком.

Больше всего будет недоставать этой большой старой кухни, подумала Бриджит, когда зашла туда в последний раз. Она, конечно, все равно будет приходить на двор, кормить кур, до тех пор, пока здесь будут куры; да и еще какая-никакая работа на дворе обязательно найдется. Когда только начала ходить на эту кухню с матерью, она, помнится, играла во дворе, а если шел дождь, сидела под навесом в летней кухне, раздувала торф колесными мехами и смотрела, как летят искры.

Она отчистила в раковине эмалированную кастрюлю — знакомый, вот уже который год, узор из трещинок на эмали. Она сполоснула ее, вытерла, поставила на место и подумала, интересно, настанет такой день, когда эта кастрюля снова пойдет в ход, и тут вдруг в ней поднялась внезапная волна хорошего настроения, да, конечно, обязательно будет, время лечит, и они непременно вернутся назад. Она взяла кусок грудинки и пошла к плите.

* * *

Увидев черное пальто, Хенри поначалу его не узнал. Когда-то он часто видел его на хозяйке, но это было много лет назад, и он успел забыть. А это еще откуда тут взялось, подумал он, — и больше ничего. Когда он в последний раз приходил сюда за камнем, чтобы заделать брешь в ограде О'Рейлева пастбища, здесь в углу ничего, кроме бурьяна, не было. Он постоял, глядя на пальто, не сделав ни шагу дальше, в развалины, и собакам тоже велел остановиться. Потом медленно прикурил сигарету.

Камни, за которыми он сюда, собственно, и шел, лежали там же, где обычно, под стенами, из которых выпали, в крапиве. Он вспомнил, как за этим столом, от которого теперь остались только ножки и одна доска, сидел Падди Линдон. Крапива вокруг стола была вытоптана, и в угол, где лежало пальто, тоже вела тропинка. Еще там лежали две соломенные рыбные корзины, а в них обсиженные мухами огрызки яблок.

Он пытался найти во всем этом смысл, а когда перед ним забрезжило некое подобие смысла, ему совсем расхотелось подходить ближе. Одна из овчарок заскулила, и он велел ей заткнуться.

Ему не хотелось поднимать пальто и смотреть, что там под ним лежит, но в конце концов он именно так и сделал.

* * *

Во дворе отрывисто тявкнула собака, и Бриджит поняла, что вернулся Хенри. Эта псина тявкала всякий раз, когда входила во двор, и Хенри даже пытался ее от этого отучить, но безрезультатно. Она подвинула на самый жар на плите сковороду с картошкой и ошпарила кипятком порубленную капусту. Она разложила на столе ножи и вилки и только после этого услышала на дорожке шаги Хенри. Когда она оглянулась от плиты, он стоял в дверях. В руках у него был какой-то узел.

— А это еще что такое? — спросила она, а он даже и не стал ей отвечать, а просто шагнул в кухню.

* * *

Всю обратную дорогу он торопился как мог, спешил разделить ответственность за то, что понял, один, в лесу, и что до сих пор никак не укладывалось у него в голове. Разве полная неподвижность ноши не была неподвижностью смерти? Раз за

разом он клал ее на землю, чтобы глянуть еще раз, и даже пытался пальцами прикрыть глаза, которые смотрели на него снизу вверх, потому что как, спрашивается, в таком сыром и промозглом месте, да еще по прошествии такого количества времени, может сохраниться какая-то жизнь?

На кухне запах тушеной грудинки пробился сквозь никак не желавшее его отпускать замешательство — так же, как реальность выстраивает по порядку фрагменты сна. На буфете звонко тикали часы, над сковородкой поднимался пар.

— Матерь Божья! — заголосила Бриджит. — Ой, Матерь Божья!

* * *

Губы у девочки были перепачканы ежевичным соком. Вид у нее был совершенно больной, щеки ввалились, под глазами темные круги, волосы свалявшиеся, как у бродяги-лудильщика. Хенри, как мог, завернул ее в старое материнское пальто. Очень грязное пальто.

Наконец Хенри начал говорить. Он сказал, что пошел за камнями к хибаре Падди Линдона. На лице у него, как обычно, чувств не выражалось никаких, даже когда он говорил. «Ветчина и то, пожалуй, поживее будет», — как-то раз сказал

отец Бриджит о лице Хенри.

— Царица Небесная! — прошептала Бриджит и перекрестилась. — Матушка-заступница!

Хенри медленно дошел до стула. Девочка была совершенно истощена и так слаба, что, казалось, жизни просто не за что в ней было зацепиться — эти невысказанные мысли теснились у Бриджит в голове, так же, как чуть раньше в голове у Хенри, и точно так же привели ее в полное смятение. Как так могло получиться, что она спаслась из морской пучины? Откуда она вообще здесь взялась? Бриджит села, чтобы унять вдруг возникшую в коленях слабость. Она попыталась сосчитать, сколько же дней прошло, но все время сбивалась со счета. Казалось, целая вечность — с той ночи на пляже и до того дня, когда уехали Голты.

— Она взяла с собой из дому еды, — сказал Хенри. — Наверное, жила все это время на бутербродах с сахаром. И, слава богу, там возле самого дома есть вода.

— Она ведь никогда не жила в лесу, а, Хенри?

Каждое утро Бриджит брала с собой из сторожки на кухню четки и клала на полку над плитой. Она отодвинулась от стола, встала, отыскала их и принялась перебирать, не ради молитвы, а

просто для того, чтобы что-то было в руках.

— Она сбежала из дому, — сказал Хенри.

— Ой, ты, бедная моя…

— А теперь боится того, что натворила.

— И как тебе такое только в голову пришло, а, Люси?

Собственный голос показался Бриджит на удивление дурацким, и, услышав его как будто со стороны, она вдруг испытала чувство стыда за сказанную глупость. Разве не ее саму следует винить в том, что все поверили в историю о морском купании? Девочка ведь каждый божий день играла в какие-то свои игры в лощине и выше по склону, в лесу, — почему она никому не напомнила об этом? Почему она никому не сказала, что все эти рыбацкие байки — чушь, да и только?

— Что на тебя такое нашло, а, Люси?

С коленкой у нее совсем плохо дело, сказал Хенри. Когда они вошли во двор, она хотела было идти сама, но он ее не отпустил. Когда у тебя колено в таком состоянии, кто знает, чем это может кончиться. Может, оно там внутри совсем разбито, кто знает. Он сказал, что съездит за доктором Карни.

— Может, отнести ее пока наверх?

Он не скажет больше ни единого слова, подума-

ла про себя Бриджит, пока этот заросший грязью ребенок не окажется наверху. До этого момента из него уже ничего не удастся выжать, зато потом он все выложит: как он на нее наткнулся и что она ему сказала, если она вообще что-нибудь ему успела сказать. Девочка была такая тихая, что казалось — она вообще больше никогда не произнесет ни звука.

— Погоди, я согрею пару кувшинов воды.

Бриджит положила четки на каминную полку и переставила на жар уже вскипевший чайник. Из чайника едва ли не в ту же минуту повалил пар и полетели брызги. Капитан, хозяйка, Хенри — все бродят взад-вперед по пляжу и роются в гальке, идиоты чертовы, а она сама и того хуже, все испортила, что только могла. Как будто в яркой вспышке света, Бриджит увидела их всех совсем другими глазами.

— Есть хочешь, Люси? Ты же чуть с голоду не померла, да?

Люси покачала головой. Хенри тоже присел; бурая шляпа сдвинута чуть на лоб, как будто ее задело веткой в лесу, а потом, опустив свою ношу на стул, Хенри просто забыл ее поправить.

— Пресвятая Дева, помоги ей, — прошептала Бриджит и почувствовала кожей, как текут у

нее из глаз теплые слезы: прежде, чем успела понять, что плачет, прежде, чем успела понять, что винить тут некого и не в чем. — Слава тебе господи, — шепнула она и вдруг обняла Люси за исхудавшие плечики. — Слава тебе господи.

— Теперь все будет хорошо, Люси, — сказал Хенри.

Бриджит налила кипятку в две большие бутыли.

Глаза у девочки были какие-то потухшие. Как будто ей было больно, но боль висела привычным тусклым фоном.

— Тебе плохо, Люси? Нога болит?

В глазах у девочки шевельнулось что-то похожее на отрицание, но ответа так и не последовало, ни звука, ни жеста. Хенри встал и поднял на руки ее послушное вялое тельце. Наверху Бриджит зажгла две лампы и держала их, пока он укладывал девочку на кровать, с которой неделю назад сняли одеяла и простыни.

— Ты там подожди, пока к тебе не выйдет сам доктор Карни, — проинструктировала Хенри Бриджит. — И быстрей вези его сюда. Возьми таратайку, пешком не ходи. А тут я теперь сама управлюсь.

Она порылась в бельевом шкафу на лестнич-

ной площадке и отыскала ночную рубашку.

— Вот мы сейчас с тобой искупаемся, — сказала она, постелив постель так, чтобы по возможности не беспокоить лежащую на кровати худую покалеченную фигурку.

Но с ванной все равно придется повременить до тех пор, пока не придет доктор, а потому она пошла в ванную, налила там горячей воды в таз и принесла таз обратно в спальню. Снаружи послышался стук, и она решила, что Хенри пришло в голову снять доски с заколоченного окна детской спальни, прежде чем ехать за доктором Карни, и вот теперь он приставил к стене лестницу и выдирает гвозди. Ему, конечно, виднее, на что сейчас лучше тратить время. Она разозлилась, и злость сама была — как облегчение.

— Может, тебе яичко сварить, когда искупаешься? Всмятку, в стаканчике, а, Люси?

Люси снова покачала головой. Судя по тому, как выглядело ее колено, без перелома там не обошлось: распухшее, иссиня-черное, размером с мяч. И нога ниже колена, похоже, совсем вышла из строя и висела, как неживая.

— Давай-ка я тебе температуру смерю, — сказала Бриджит.

Градусник где-то в доме был, вот только она

никак не могла сообразить, где именно, если его вообще не увезли с собой. Придется и с этим дожидаться доктора Карни.

— Когда он приедет, ты у нас будешь чистенькая и хорошенькая.

Девочка была грязнее некуда — руки, ноги, волосы как пакля, лицо и руки все в царапинах. Ребра были туго обтянуты кожей, живот совсем запал. Ей всегда нравилось, если сварить яйцо всмятку, размешать его в чашке и накрошить туда тост.

— Ну, может, после доктора аппетит к тебе вернется.

Вода в тазу сразу стала черной. Бриджит вылила ее в ванну и набрала таз снова. О чем он таком говорил, какие бутерброды с сахаром? Тот дом давно уже обвалился. Интересно, а раньше она тоже туда ходила? Это что ей, игра такая на ум пришла, остаться там жить навсегда просто потому, что ей не хотелось отсюда уезжать? И только из-за такой вот малости все мучения, вся эта жуть, страшней которой за всю жизнь, наверное, не придумаешь? Надо было сказать ему, чтобы отправил телеграмму на тот адрес, что они оставили. Но тогда ему пришлось бы заезжать в сторожку за бумагой, и он бы застрял там еще бог

знает насколько, и оставалось только надеяться, что ему самому такая мысль в голову не придет.

— Мама с папой уехали, — сказала Бриджит. — Но теперь-то они точно скоро приедут назад.

Она положила одну бутылку на середину кровати, чтобы согреть холодные простыни, а другую — в ноги. Она откинула оконную щеколду и слегка приспустила верхнюю раму. Часть досок Хенри отодрал, но несколько штук осталось.

— Вот уже и доктор скоро приедет, — сказала она, потому что не знала, что еще сказать.

* * *

— Так все и было, чего тебе еще. — Внизу в прихожей Хенри мотнул головой в сторону спальни, с окошка которой он снял доски. — Что она тебе еще может рассказать?

— Что значит, чего тебе еще? Она же, считай, с того света пешком пришла!

Она бы пешком и шага не сделала, сказал Хенри. Она и так прошла больше, чем можно себе представить, пока добралась до того места, где он ее нашел. А если бы он не озаботился тем, чтобы починить то место в стене, через которое опять начали перебираться овцы, он бы и вовсе ее не нашел.

— А что ты там такое говорил насчет бутербродов с сахаром?

Там был кусок газеты, и в нем остались крошки хлеба и сахара. Еще она рвала там яблоки, они неспелые, но она все равно их ела, потому что на земле валялись огрызки. Она, в общем, все правильно делала.

— Слушай, Хенри, а у нее с головкой не того?

— Не хуже, чем у нас с тобой.

— Она соображала, что делает, когда убегала из дома?

— Конечно, соображала.

— Надо бы сообщить мистеру Салливану. И в Англию тоже сообщить.

— Я тоже об этом подумал.

Доктор диагностировал перелом кости, который надо бы изучить повнимательней, повреждение суставной сумки, внутреннее кровоизлияние, нервное истощение, жар и хроническое недоедание. Он посоветовал дать ей бульона или горячего молока и кусочек тоста, только очень тонкий и не больше одного. Хенри пошел с ним обратно в Килоран, чтобы дать телеграмму всюду, куда следует. На кухне Бриджит поджарила на плите одинокий кусочек хлеба.

Сегодня ночью придется ночевать в доме. Хен-

ри пришел к этому умозаключению на обратном пути в Лахардан; Бриджит та же мысль пришла в голову, когда она несла вверх по лестнице поднос с едой. Девочку, да еще в таком состоянии, никак нельзя было оставлять одну, и плевать на поджигателей. Пока все не уладится, пока не вернутся капитан и миссис Голт, они будут жить в доме.

— И что ты написал в телеграмме? — спросила Бриджит у Хенри, когда он вернулся.

В Англию ушел следующий текст: *Люси нашлась живая в лесу.*

4

Они остановились в Базеле, прикинув, на какой образ жизни могут рассчитывать, если жить на одно только наследство Хелоиз. Поначалу в них вызывал беспокойство тот факт, что она могла переоценить свои финансовые возможности и что денег будет недоставать, но беспокойство оказалось излишним. Все имущество капитана состояло из оставшихся в Ирландии земли и дома, и эти активы останутся в неприкосновенности до тех пор, пока какие-либо непредвиденные обстоятельства не заставят распорядиться ими иначе. Работу в представительстве транспортной компании или что-нибудь другое в этом же духе за границей оказалось найти достаточно сложно; к счастью, в этом не было никакой необходимости.

Именно в процессе обсуждения всех этих материй капитан понял, что будущее они видят по-разному, что, как бы прочно ни объединяло их пережитое несчастье, в действительности они куда менее единодушны, чем то ему казалось, когда он говорил жене: мы с тобой заодно. За тот недолгий срок, который прошел с момента отъезда,

он уже понял, что ошибался, когда представлял себе, что ему больше никогда не захочется вернуться в брошенный дом. Но, кроме всего этого, он чувствовал, что уверенность Хелоиз в правоте сделанного шага крепнет с каждой оставленной за спиной милей. Изгнанничество было ее единственной мечтой, единственной надеждой и отрадой. Ему совсем не хотелось придумывать способы убедить ее в обратном; ей нужен был его уход, его внимание. Она по-прежнему оставалась не более чем тенью той женщины, которой когда-то была.

Они устроили кое-какие свои дела в Базеле и снова отправились в путь. Они поехали к югу, в Лугано, и на несколько дней задержались на берегах тамошнего тихого озера. Безоблачным осенним днем они пересекли итальянскую границу и засим, по-прежнему не спеша, двинулись дальше.

5

— В развалинах? — переспросил Алоизиус Салливан. — *В развалинах?*

Бриджит объяснила, что к чему. Она упомянула о еде, которую девочка унесла из дома в двух рыбных корзинах, и о зеленых яблоках. Мистер Салливан на секунду закрыл глаза.

— При том, что творилось в доме, ей, понятно, и захотелось сделать что-нибудь назло всем. Вот она и придумала сбежать из дому, мол, может, хоть тогда на нее кто-нибудь обратит внимание. — И Бриджит изложила все, до чего успела дойти своим умом: насчет веток с колючками, на которые в чаще, в темноте, и не захочешь, а наткнешься, да еще если тащишь на себе взрослое пальто, чтобы не замерзнуть ночью, и насчет валежника, об который только ноги ломать. — Она себе все лицо расцарапала, кровь так и текла. Она почувствовала вкус крови, вот и напугалась. Бедная малышка, она так и ползла, и волокла на себе все, что взяла с собой, пока случайно не наткнулась на хибару Падди Линдона, чтобы хоть было где от дождя укрыться. Утром снова хотела было двинуться к дому, но у нее к этому

времени так нога распухла, что она бы и нескольких шагов, наверное, не прошла. Она пыталась утром выйти, насобирать ягод, поняла про ногу и напугалась. А потом ей совсем страшно стало, когда еда подошла к концу. Вот она там лежала и думала, что кто-нибудь за ней придет. А потом, когда никто не пришел, она решила, что умрет.

Для Алоизиуса Салливана это прозвучало не слишком убедительно.

— А та одежда, которую нашли на пляже? Девочка что, оставила ее там специально, чтобы сбить родителей со следа? То есть нам придется признать, что это была хитрость, расчетливый обман?

— Да нет же, мистер Салливан, нет.

— А что тогда? Шутка, детская шалость?

Ни к настоящему моменту, ни потом Бриджит так, ничего и не узнала о той роли, которую сыграл во всей этой истории О'Рейлев пес, а потому она предположила, что найденные на пляже вещи были оставлены там по ошибке.

— Все дело в том, сэр, что мы не про то думали и никому из нас даже в голову не пришло, что она может просто сбежать. Ни мне, ни Хенри, ни хозяину, ни хозяйке, сэр.

— Не представляю себе, как такое вообще ко-

му-то могло прийти в голову, — сухо ответил стряпчий.

Они были в гостиной, мебель по-прежнему была затянута чехлами. Горели две лампы. Окна по большей части были все так же заколочены досками.

— У нас просто было такое чувство, сэр… что все случилось так, как нам тогда показалось, и все эти вещи, которые тогда нашли…

— Я понимаю, Бриджит, я все понимаю.

— Как мы могли подумать, сэр, что она может отправиться в Дунгарван на ночь глядя и что она пойдет через лес к дороге, а до дороги-то не одна миля? Это же просто уму непостижимо, сэр, да она сейчас и сама не понимает, какой был смысл так делать.

— Я, Бриджит, слава богу, с причудами ума таких вот юных созданий совсем не знаком — или что там у них вместо ума. Однако, смею вас уверить, что по роду деятельности мне часто доводилось сталкиваться с не меньшими причудами людей вполне взрослых. А где сейчас девочка?

— Во дворе. С Хенри.

— И как она?

— Все такая же тихая, сэр. — Бриджит сняла

простыню с одного из кресел. — Присаживайтесь, сэр.

Алоизиус Салливан был человек большой, а потому с радостью принял ее предложение. Он приехал в Лахардан на машине, но икры ног у него уже болели. И было у него такое чувство, что причину этой боли следует искать в свалившемся на него волею обстоятельств грузе ответственности, неожиданной и нежеланной. С тех самых пор как он получил из Франции от Эверарда Голта последнюю, в несколько строк, записку, он стал замечать за собственным телом какие-то странные нервические реакции, которые проявлялись то в высыпавшей ни с того ни с сего сыпи под воротничком, то, вот как сейчас, во внезапной боли в икрах. Когда, неделю тому назад, до него дошли сведения о том, что все строившиеся до сих пор догадки о судьбе ребенка оказались ложными, он почувствовал приближение старого невралгического синдрома, затихшего было много лет назад.

— Моя матушка любила повторять, Бриджит: поскреби ребенка — и обнаружишь беса.

— Да нет же, сэр, нет. Она сама не своя оттого, что так все обернулось. Как и мы все. С тех пор как приходили эти люди, чтобы всех нас убить

в наших собственных постелях, в доме уже никогда не было ладно. Если где и следует искать виноватых, сэр, так именно в тех краях.

Стряпчий вздохнул. Он все понимает, сказал он, но все равно у него не идет из головы то, что ему рассказывал сам Эверард Голт: как они с женой из раза в раз ходили на пляж, как днем и ночью испытывали адские мучения, да и теперь, судя по всему, они просто бегут отсюда подальше куда глаза глядят. А их сбежавшая дочурка кушала все это время бутерброды с сахаром.

— Да вы садитесь сами, Бриджит, — сказал он.

Но Бриджит садиться не стала. Она никогда не садилась в этой комнате и, даже если принять во внимание все, что случилось, не могла этого сделать и сейчас. У нее просто внутри все перевернулось, сказала она, когда Хенри вошел в дом с девочкой на руках. Жуткое, конечно, дело, и ребенок, конечно, жуть что натворил — она этого и не отрицает. Но такого несчастного существа она еще в жизни не видела, как в тот вечер, когда Хенри ее принес, — как говорится, краше в гроб кладут.

— Может, нам послать еще одну телеграмму, сэр, на случай, если та затеряется?

— Она не затерялась, Бриджит.

Бриджит слышала о письме, которое пришло из Франции. Не ее ума дело — хмурить брови, но все-таки она не сдержалась; и мистер Салливан тоже сделал паузу, как будто почувствовал, что ей нужно немного собраться с мыслями. А когда заговорил снова, то объяснил, что в полученном им почтовом отправлении речь шла о мебели и прочем движимом имуществе, которое осталось в Лахардане. Ему казалось, что со дня на день придут грузовики и все вывезут. Но в письме было ясно сказано, что все должно оставаться на своих местах.

— Вашу телеграмму получили, Бриджит, по тому адресу, на который она была отправлена. Там же получили и телеграмму от капитана Голта с уведомлением об отказе от аренды. Рано или поздно мы, конечно же, получим сведения о том, где остановились мистер и миссис Голт. К сожалению, на данный момент мы такими сведениями не располагаем.

Напомаженная голова мистера Салливана медленно качалась из стороны в сторону, подчеркивая крайнее неудобство сложившейся ситуации; его серо-голубые глаза глядели сурово. Затем он вздохнул, медленно набрал полную грудь воздуха, подержал его немного и разом

выдохнул.

— Вам они, конечно же, ничего перед отъездом не сказали насчет того, что могут передумать ехать в Англию? Насчет того, что они намереваются делать дальше?

На лице у Бриджит отразилась тревога, чувство еще менее подконтрольное, чем проскользнувшее минуту тому назад недоверие. Может, что-то такое и впрямь упоминалось? Может, при всей тогдашней суматохе она просто недостаточно внимательно слушала, что ей говорят? Она подумала еще немного, а потом покачала головой.

— Ничего, кроме адреса, они не оставили, сэр.

Пухлые руки мистера Салливана почти невесомо лежали на коленях, обтянутых синей, в тонкую полоску тканью.

— Может, в доме есть какие-нибудь бумаги, в которых имело бы смысл покопаться, а, Бриджит? На тот случай, если там вдруг обнаружится хоть какая-то зацепка?

Бриджит сняла с мебели еще несколько чехлов. Но ни в ящиках письменного стола, ни в гостиничном серванте не нашлось ничего, что относилось бы к вставшей перед ними неразрешимой задаче. Они поднялись наверх с лампами, но даже и в ящиках туалетного столика тоже

ничего не нашли.

— Ничего здесь нет, одни квитанции, — доложила Бриджит, перерыв все полки в угловом буфете на лестничной площадке первого этажа; мистер Салливан держал лампу.

Потом среди писем обнаружилась одна-единственная почтовая карточка от капитанова брата, с обратным адресом расквартированной в Индии воинской части, трехлетней давности. Кроме того, обнаружилось несколько более свежих писем от уилтширской тетушки Хелоиз Голт, сплошь состоящих из старческого брюзжания и жалоб на то, что тетушка потому и не пишет, что племянница о ней совсем забыла.

— Те распоряжения, которые капитан оставил в отношении дома и ваших обстоятельств, никоим образом не нарушены, — сказал мистер Салливан. — Все происшедшее никак их не затрагивает.

Суммы, необходимые на поддержание дома в должном порядке, предусмотрены, как и деньги на непредвиденные расходы. Голты всегда были людьми методичными, пусть даже их отъезд прошел совсем не так и не при тех обстоятельствах, при которых планировался. Он, собственно, надеялся только на дом, признался стряпчий, надеялся найти в нем хоть какую-нибудь зацеп-

ку, которая могла бы намекнуть на то, почему и каким образом у них переменились планы.

— Я тут пытался навести кое-какие справки, — сказал он, когда они вернулись в гостиную. — Опросил всех, кто только пришел мне в голову. Думал, может, хоть какая-то информация дошла до кузенов из Маунт-Беллоу, но они, судя по всему, тоже недавно уехали из Ирландии. Вы не знаете, они часто общались между собой?

Бриджит не знала. Как-то раз заезжали, вспомнила она, но с тех пор, как они перебрались в Англию, ни слова о них больше сказано не было. Еще раз перерыли все ящики внизу, но писем от них больше не нашли; кузенов из Маунт-Беллоу удалось обнаружить только в фотоальбоме, где они мирно сидели на травке во время устроенного десять лет назад пикника.

— Если я не ошибаюсь, один из этих мальчиков поступил в Пасхендейл, — вспомнил стряпчий. — В тот самый полк, где служил капитан.

— Даже и не слышала об этом.

— Что-то вы совсем разволновались, Бриджит. Это я во всем виноват со своими расспросами. Не беспокойтесь, рано или поздно мы с ними свяжемся. У нас есть этот полк в Индии, на случай, если капитан поддерживает связи с братом,

и, если даже полк передислоцировали, любую поступившую от меня ноту все равно перешлют по новому адресу. Для военных такого рода вещи — дело чести.

— Да я все о ребенке, сэр.

— Доктор Карни перешлет мне свое заключение, Бриджит. Мы с ним об этом уже говорили. — Мистер Салливан немного помолчал. — Не будет слишком большой вольностью с моей стороны, если я попрошу вас еще на какое-то время оставить все так, как оно есть сейчас? Не думаю, чтобы это затянулось надолго, а, Бриджит?

— Оставить все, как сейчас, сэр?

— Не слишком надолго.

— То есть чтобы мы с Хенри остались жить в верхних комнатах? Вы это имеете в виду, сэр?

— Я имею в виду, что при сложившихся обстоятельствах и поскольку девочка все равно уже оказалась здесь, а не где-то еще, было бы разумно дать ей возможность жить в ее родном доме. С вашего позволения, Бриджит, я беру на себя смелость утверждать, что это было бы куда лучше, чем перевозить ее в сторожку.

Не оговаривая особо, сколько продлится это самое ненадолго, мистер Салливан высказал предположение, что сам по себе переезд, а по-

том еще и постоянный вид запертого дома с заколоченными окнами будет куда сильнее травмировать ребенка, из-за которого все это, собственно, и случилось, чем возможность остаться в знакомых стенах. Он совершенно уверен в том, что человек, который приходил в тот раз к дому ночью, давно уже и думать забыл о своих преступных намерениях. Он упомянул об этом обстоятельстве исключительно на тот случай, если он, сам того не желая, вызвал своим предложением некие особые опасения.

— Да, конечно, теперь-то уж они оставят нас в покое, сэр, и Хенри так говорит, ведь хозяина с хозяйкой они таки заставили уехать. Им только этого и надо было, он говорит.

Мистер Салливан согласился, но развивать эту тему не стал. Должно быть, Хенри что-нибудь этакое слышал, решил он; а если даже и не слышал, то его интуиции вполне можно доверять. Раненый остается раненым, но события с той ночи успели приобрести такой оборот, что все происшедшее в Лахардане вполне могло удовлетворить разыгравшееся у противоположной стороны чувство мести.

— Сторожка у нас сейчас вообще заперта, сэр. Мы так все и оставим, пока они не вернутся.

— А как посмотрит на такую возможность наш маленький друг?

— О каком таком друге вы говорите, мистер Салливан?

— Я имею в виду ребенка. Как она воспримет возвращение отца с матерью? Хоть на этот раз она сможет тихо и спокойно уехать вместе с ними?

— А может, они на сей раз передумают и останутся, раз уж все равно приедут домой? Она ведь и так вся уже извелась из-за этого, может, передумают, а, сэр?

— Я тоже был бы этому очень рад, Бриджит.

— А вы там не слышали, война-то к концу идет или как?

— И на это тоже есть некоторая надежда. Н-да, уж надеяться нам никто не запретит. — Мистер Салливан встал. — Я бы хотел взглянуть на ребенка.

— Вы сами увидите, сэр, она стала такая послушная.

Мистер Салливан вздохнул и оставил при себе замечание относительно того, что в нынешней ситуации послушание никак нельзя назвать качеством излишним.

— Вы еще, может быть, не знаете, сэр. Пока она там лежала, кость у нее срослась, но срослась

неправильно, и она теперь так и будет хромать.

— Я знаю, Бриджит. Доктор Карни специально приезжал ко мне, чтоб поделиться этой новостью.

С этими словами он встал и пошел через сумеречную гостиную к выходу во двор. Ребенок, о котором шла речь, сидел на приступке перед входом в небольшую пристройку, которая уже давно как-то сама собой перешла в собственность Хенри. На другой стороне двора, под раскинувшим ветви по стене грушевым деревом, растянулись на солнышке две молодые овчарки. Когда на пороге появился стряпчий, они подняли головы и на загривках у них встала шерсть. Одна заворчала, но ни та, ни другая не двинулись с места.

Сквозь открытую дверь в мастерскую Хенри мистер Салливан увидел верстак с тисками под развешанным на стене плотницким и слесарным инструментом — молотками, стамесками, рубанками, киянкой, криволинейным стругом, ножницами по металлу, ватерпасом, гаечными ключами. Два ящика из-под чая были доверху набиты обрезками дерева различной длины и ширины. На крючьях висели пилы, мотки проволоки и почти израсходованный моток бечевы.

Хенри сидел рядом с девочкой на приступке

и раскрашивал в белый цвет игрушечный аэроплан. Модель стояла на большой жестяной банке из-под джема: около фута в длину, с двойными крыльями, но пока без пропеллера. Крылья были соединены спичками, положение и угол наклона которых Хенри скопировал с вырванного из газеты снимка аэроплана, который тоже лежал с ними рядом на крылечке.

— Люси, — позвал мистер Салливан.

Она не ответила. Хенри тоже ничего не сказал. Его кисть — слишком большая и совершенно неудобная, как показалось мистеру Салливану, для такого рода работы — продолжала покрывать шершавую поверхность дерева чем-то вроде обычного известкового раствора.

— Люси, я к тебе обращаюсь, — сказал он.

— Славный денек сегодня выдался, мистер Салливан, — сказал Хенри, когда и на эту реплику стряпчего ответа не последовало.

— Ваша правда, Хенри. Ваша правда. А теперь, Люси, я хотел бы задать тебе пару вопросов.

Не приходилось ли ей слышать, чтобы родители планировали какие-то поездки? Не упоминались ли при ней города, которые им бы хотелось посетить? Не шла ли речь о какой-то конкретной стране?

Девочка молча качала головой, чуть активней после каждого очередного вопроса, и светлые волосы падали ей на лицо. Мистер Салливан пригляделся попристальней, и ему показалось, что лицом она — вылитая мать, те же глаза, тот же нос и жесткая линия губ. Настанет день, и в этом доме объявится еще одна красавица; и он задал себе вопрос, а будет ли это достаточной компенсацией за то, как пройдет все отпущенное ей до той поры время.

— Если ты что-нибудь вспомнишь, Люси, расскажешь об этом Хенри и Бриджит, ладно? Я могу на тебя положиться?

В голосе у него задребезжала умоляющая нотка, и он знал, что эта мольба не имеет отношения к тому, о чем он просит, что ему всего лишь хочется, чтобы она улыбнулась так, как улыбалась когда-то давно. «Ах, Люси, Люси», — шептал он по дороге обратно в гостиную.

Ему накрыли чай по-прежнему — при свете ламп. Он выпил две чашки и намазал себе медом ячменную лепешку. Мысли его одолевали невеселые. Теперь, когда он оказался в этом доме, несчастье, которое привело его сюда, казалось ему еще более невероятным и нелепым, чем в тот день, когда он узнал о том, что девочка жива. По

какой такой случайности Эверард Голт не прошел мимо клочка материи, едва заметного на каменистом пляже? Какой порочный круг заставил всех обитателей дома напрочь забыть о добросердечной горничной, у которой отчаявшийся ребенок мог попытаться найти пристанище?

Ответов не было. Алоизиус Салливан встал и вытер салфеткой, которую ему принесли вместе с чаем, масленую пленку с губ. Он отряхнул с брюк крошки и расправил жилет. Выйдя в прихожую, он позвал Бриджит, и они вместе прошлись до автомобиля.

— Вы же свяжетесь с ними, сэр, вы привезете их обратно?

Провернулся ручной привод, мотор забормотал и ожил. Да, он обязательно привезет их обратно, пообещал мистер Салливан, со всей убедительностью, которую только смог в себе отыскать. Он выроет их хоть из-под земли. Все будет в порядке.

Бриджит стояла и смотрела на то, как машина скрывается в подъездной аллее, а потом понемногу рассеивается дым от автомобильного выхлопа. Она помолилась о том, чтобы у стряпчего все получилось, а потом, на кухне, помолилась еще раз, прося об одной этой милости, потому что все

остальное не имело значения.

* * *

— К завтрему краска высохнет, — сказал Хенри. — Давай-ка пока оставим ее на дворе.

— Он меня не любит.

— Да брось ты, конечно, любит. Все тебя любят, по-другому-то как же?

При помощи оставшихся от постройки палочек он укрепил модель самолета на ступеньке вертикально. И сказал: чтобы краску до утра не трогать.

* * *

Алоизиус Салливан еще раз опросил всех, кого только мог, в Инниселе и в Килоране. Он написал всем известным ему друзьям капитана Голта и тем из английских знакомых его жены, с которыми она могла поддерживать хоть какую-то связь. Он выяснил, куда, в Англии, перебрались Голты из Маунт-Беллоу, и разыскал еще одних Голтов, отдаленных родственников, в графстве Роскоммон. Никакими сведениями о конечной точке предполагаемого маршрута изгнанников эти его поиски не были вознаграждены: одно

лишь удивление и недоверие к человеку, который задает слишком много вопросов. Письмо, полученное им от самого Эверарда Голта, было отправлено из французского городка Бельфор, несколько строк под адресом «Отель дю Парк» на бульваре Людовика XI. От владельца отеля Алоизиус Салливан, после некоторой паузы, получил информацию о том, что постояльцы, о которых идет речь, остановились всего на одну ночь в *Chambre Trois*[7]. Куда они направились из Бельфора, остается неизвестным.

Управляющий банком Хелоиз Голт из Уорминстера, графство Уилтшир, поначалу отказывался вдаваться в какие бы то ни было подробности распоряжений, полученных им от клиента, но, в конце концов, признался, что миссис Голт написала ему из Швейцарии и закрыла счет. Остаток был переведен в один из базельских банков, и у него есть основания полагать, что от своих паев в компании «Рио Верде» она избавилась там же. Поскольку на этом его собственные возможности в данной сфере были исчерпаны, мистер Салливан написал в частное сыскное агентство, господам Тиммзу и Уэлдону, в Хай-Холборн,

[7] Примечания: 7
Номер третий (фр.).

Лондон.

> Есть надежда, что мои клиенты остановились в этом городе, или, по крайней мере, именно там можно получить информацию относительно их нынешнего местонахождения. Прошу вас выслать в мой адрес приблизительную стоимость ваших услуг в том случае, если я соглашусь воспользоваться вашими услугами на сей предмет.

В скором времени в Швейцарию был направлен мистер Бленкин из агентства «Тиммз и Уэлдон». Он пробыл в Базеле четыре дня, но единственная заслуживающая внимания информация, которую ему удалось раздобыть, касалась того обстоятельства, что пай действительно был продан. Полученная сумма не была обращена в какие бы то ни было активы, по крайней мере сразу; объекты остановились в городе ненадолго, в маленькой гостинице в Шютценграбене; их нынешнее местопребывание не известно. Мистер Бленкин перебрался в Германию и целую неделю безрезультатно мыкался между Ганновером и несколькими другими городами, после чего навел справки в Австрии, Люксембурге и

Провансе. Затем, после того как он прислал по телеграфу запрос о дальнейших инструкциях и воспоследовавших консультаций между господами Тиммзом и Уэлдоном и мистером Салливаном, мистер Бленкин был отозван обратно в Хай-Холборн.

6

В городе Монтемарморео, на виа Читаделла, они сняли комнаты над мастерской башмачника. «Ну, чем мы сегодня займемся?» — спрашивал обычно капитан, заранее зная, каким будет ответ. Ну, давай пройдемся немного, неизменно предлагала Хелоиз, и они отправятся бродить по окрестным холмам, где возле старых, выработанных мраморных каменоломен зреют кислые черные вишни. Разговор будет течь сам собой, то вспыхивая, то затихая на полуфразе, и речь никогда не зайдет о Лахардане и об Ирландии, но только о детстве Хелоиз, о ее воспоминаниях об отце и о матери, пока та еще не овдовела, о городах и людях, которые остались в тех далеких счастливых временах. Капитан будет весь терпение, он вовремя задаст вопрос, он станет внимательно слушать; Хелоиз бывает очень разговорчива, поскольку такого рода воспоминания рассеивают муторную взвесь тоски. Ее красота и прямая осанка капитана, его привычный строевой шаг делали их весьма заметными фигурами в Монтемарморео — чету, которая поначалу казалась загадочной, а потом перестала таковой

казаться.

Они долго не могли себе позволить еще одного ребенка, но в один прекрасный день он все же мог появиться на свет, в Италии, — капитан Голт надеялся на это ради жены, она сама — ради мужа. Но надежд они боялись и всячески их избегали, как избегали разговоров на запретные темы. Став доками в умении усовершенствовать начатую фразу, или дать ей уйти в пустоту, или заглушить улыбкой, они отдались на волю незнакомых мест, куда приехали как инвалиды, как больные неизлечимой формой тоски, — здешним каменистым холмам и узким улочкам, здешнему языку, который они учили так, как учат язык дети, и запредельной простоте здешней жизни. Они выработали свои способы убивать время, и так проходил день за днем, пока не настала пора откупорить первую бутылку «амароне». Они никому не мешали в Монтемарморео.

7

С глубокой душевной скорбью отвечаю Вам, читал Алоизиус Салливан в письме, пришедшем с крайнего юга Бенгалии, *ибо все рассказанное Вами произвело на меня весьма сильное впечатление. Мы с Эверардом состояли в переписке, хотя ее и нельзя было назвать регулярной. В последний раз я приезжал в Лахардан через год или около того после рождения племянницы, получив от брата письмо с известием об этом событии. Не берусь судить, но, с моей точки зрения, Ирландия всегда была страной малоприятной, вполне под стать сложившейся репутации. То обстоятельство, что моему брату, среди многих прочих, пришлось ее покинуть, как покидали ее когда-то «дикие гуси», — едва ли не самая печальная новость для меня за долгие-долгие годы. Если Эверард свяжется со мной, я, естественно, тут же расскажу ему обо всем, что случилось. Но сдается мне, что Вы или те люди, что остались в Лахардане, получите от него весточку куда быстрее, чем я.*

Фирма «Гудбоди и Таллис», стряпчие из Уормин-

стера, Уилтшир, попросили мистера Салливана прояснить его письмо от четырнадцатого с.м., адресованное их клиентке, ныне недееспособной и доводящейся теткой упомянутой Хелоиз Голт. В ответном письме мистер Салливан описал ситуацию, в которой оказались двое слуг и ребенок, и объяснил, как возникла описанная ситуация. Полученный ответ — за подписью мисс Шамбрэ, компаньонки недееспособной леди — не оставлял сомнения в том ужасе, которую испытывал автор в отношении всего происшедшего, как и в общем чувстве неприязни к тем людям, с которыми она приключилась. В последнее время от Хелоиз Голт не поступало никаких писем, утверждала мисс Шамбрэ, кроме того, она не считает возможным доверять слуху своей работодательницы что-либо из дошедшей до нее самой информации, поскольку у той весьма слабое сердце, и оно может не выдержать столь тягостного известия о проявленном девочкой ужасающем безрассудстве.

Ввиду того, что моя работодательница не была удостоена чести познакомиться с этим ребенком, продолжала мисс Шамбрэ, *и сама весьма продолжительное время пребывала в полном небрежении у своей племянницы, — не получая в*

течение долгих лет ничего, кроме открыток к Рождеству, — я склонна считать, что мое желание избавить старую больную женщину от этих в высшей степени скандальных новостей оправдано вдвойне. Я бы предложила поместить ребенка в исправительное учреждение до той поры, пока его родители не вернутся из своих разъездов. Впрочем, судя по тому, что Вы сообщаете, на них также лежит часть вины за это злосчастное происшествие.

* * *

С окон в Лахардане были сняты последние доски, чтобы развеять тьму и снова впустить в дом воздух. Мистер Салливан регулярно пил чай в гостиной, регулярно не привозя с собой никаких известий. Но только лишь когда прошла осень, а вслед за ней и большая часть зимы, в течение которой нервическая пауза в ирландских бедствиях и напастях то и дело грозила взорваться новыми бедами и напастями, он предложил обсудить дальнейшее будущее Лахардана.

— Следуя букве закона, — неожиданно заговорил он однажды во второй половине дня, — я не должен влиять на дальнейшие решения в этой области, Бриджит. Мои функции должны были

подойти к концу в тот момент, когда был закрыт дом. «Земля и скот должны предоставить необходимые средства к существованию». Капитан Голт еще раз подтвердил это свое решение во время своего последнего визита ко мне за день или за два до отъезда. Даже и в горе он не забыл о том, что вы с Хенри должны жить достойно. Но ту сумму, которую он мне оставил — на покрытие дальнейших расходов по поддержанию дома в порядке, — мне пришлось, ввиду изменившихся обстоятельств, использовать на иные нужды, и, по правде говоря, от нее уже ничего не осталось. Так что, Бриджит, если следовать букве закона, на этом все и должно закончиться. И если в дальнейшем я смогу оказывать какую-то помощь, то исключительно на правах друга вашего нанимателя и вашего, я надеюсь, тоже. Я готов взять на себя расходы по воспитанию ребенка, исходя из моих собственных средств. По возвращении капитан Голт, вне всякого сомнения, возместит мне все, что я потрачу.

— Так любезно с вашей стороны, сэр, что вы о нас заботитесь.

— Вы справитесь, Бриджит?

— Да справимся, конечно, справимся.

Мистер Салливан пожал Бриджит руку, чего

никогда не делал раньше и, если уж на то пошло, в дальнейшем не позволял себе ни разу. Он пообещал, что не оставит их. Он будет и дальше наезжать в этот дом до тех пор, пока великое и радостное событие, воссоединение, не отменит такой необходимости. И он по-прежнему уверен в том, энергично заявил он, что такой день настанет.

При всем том мистер Салливан ни словом не обмолвился о своих собственных разочарованиях и неудачах, поскольку иностранными языками он не владел, любые разыскания в третьих странах приходилось осуществлять через официальные учреждения в Дублине, при том, что полная политическая неразбериха, царившая в стране сперва до, а затем и после заключения пресловутого Договора[8], мягко говоря, не способствовала такого рода сношениям. Передача власти, ответственности и полномочий шла своим весьма неторопливым чередом; а пока суд да дело, в стране царил хаос. Не получая ответа на свои письма, мистер Салливан по два раза отсылал копии в учреждения, которые впоследствии

[8] Примечания: 8

Англо-ирландский договор от 6 декабря 1921 года определил статус Ирландии (без шести Ольстерских графств) как британского доминиона под названием Ирландское свободное государство.

оказывались закрытыми за недостатком штатов. А когда, много позже, он стал считать вполне естественным то обстоятельство, что в эпоху общенационального кризиса и гражданской войны маленький частный кризис никого не интересует, то винить в этом он продолжал себя самого не в меньшей мере, чем те обстоятельства, жертвой которых он стал, поскольку слишком настаивал в отправленных письмах на неотложности своего дела, что, естественно, было в сложившейся ситуации совершенно неуместно. В конечном счете ему начали-таки приходить обнадеживающие письма, но им он тоже не доверял, видя в них пустые обещания, отписки, отосланные в его адрес с единственной целью — его успокоить. Однажды они все-таки разошлют по соответствующим инстанциям какое-нибудь нелепое, утратившее всякую актуальность, сшитое вкривь и вкось попурри из его запросов, в котором ни следа не останется от живого чувства по поводу этой страшной семейной драмы. Он представлял себе, как раздраженно или попросту пожав плечами, иностранные чиновники, которым и без того есть чем заняться, отправят сей документ в долгий ящик.

Он ни за что теперь от них не отвяжется; впро-

чем, понимал он также и то, что подобная беспомощность в достижении цели будет и впредь не лучшим образом сказываться на его репутации стряпчего. И стыд за собственную некомпетентность заставлял его принимать все случившееся еще ближе к сердцу, так же, как чувство вины в случае с Бриджит и Хенри: они же знали, что Люси бегает купаться одна, и ничего не сказали.

— Будем надеяться на лучшее, — еще раз уверенным тоном сказал он в тот день, хотя сам уже давно успел разувериться во всех надеждах. Он попрощался с Бриджит и пошел к автомобилю под низким, набухшим дождевой влагой небом.

* * *

На кухне, где первым делом всегда затапливалась плита, стены и потолок были белыми, а все деревянные части выкрашены в зеленый цвет. В тяжелом деревянном столе, который скоблили так долго и усердно, что по краям теперь образовались бортики из древесных волокон, были ящики с медными ручками. Между окнами стоял зеленый буфет, битком набитый тарелками, чашками и блюдцами. По обе стороны от двери были встроенные в стену серванты.

Люси сидела за столом, на самом краешке, и

смотрела, как в яичнице у Хенри растекается желток. Ей самой тоже нравился желток, а белок не нравился, если только их не перемешать. Она смотрела, как Хенри подсолил желток, а потом обмакнул в него кусочек поджаренного хлеба.

— Хенри одному скучно будет, — сказала Бриджит. — Ты бы сходила с Хенри, а, дочка?

Каждое утро, если погода была ничего, Бриджит говорила, что Хенри одному будет скучно ехать на маслобойню. Люси знала, что скучно ему не бывает. Она знала, что нужен повод, чтобы отправить ее вместе с ним, потому что в каникулы и по выходным ей дома особо делать было нечего. «А, Люси, ну, заходи, заходи!» — воскликнул мистер Эйлворд в то утро, когда она вернулась в школу, и ей показалось, что вот сейчас он ее обнимет, но мистер Эйлворд никогда ничего подобного себе не позволял. «Ты к этому привыкнешь», — пообещал он ей, когда другие дети, которых в школе и было-то раз-два и обчелся, не захотели с ней играть, когда они просто стояли и пялились на нее, или оглядывались, или посмотрят, а потом толкают друг друга локтем в бок, и даже не хихикали, потому что она такое натворила, что даже и хихикать — грех. По пляжу она ходила с безымянным псом, который тоже однажды

сбежал из дому.

— Ладно, — сказала она, глядя, как Хенри промокнул остатки желтка хлебным мякишем. — Ладно. Хорошо, — сказала она.

Стоял апрель, самое начало. Утро было ясное, и по небу неслись легкие облачка. За солнцем гонятся, сказал Хенри.

— Нынче дождя не дождешься, — сказал он. — Даже и думать нечего.

Небеса, они там, наверху, говорила мама, выше облаков и выше голубого небесного купола. Небеса каждый себе выдумывает сам, говорила мама, так, как ему бог на душу положит.

Большие деревянные колеса телеги стучали по дороге, лошадь шла неспешной иноходью, Хенри приспустил вожжи. Когда ветви деревьев сходились куполом над подъездной аллеей, пропадали и небо, и солнце. Свет сочился сквозь листья каштанов, а потом впереди показалась сторожка. Ворота стояли раскрытые настежь, почти незаметные сквозь поросль, потому что никто их давно уже не закрывал, да теперь, наверное, уже и не закроешь. На солнышке, на пыльном глинистом проселке, который уходил вправо, было куда теплее.

Когда-то она много говорила во время таких

поездок, просила Хенри рассказать ей про Падди Линдона, как он приходил в Килоран раз в год на праздник Тела Господня, дикий человек с узелком из большого красного платка, а в узелке грибы. Священник, который был в Килоране до отца Морриссея, заранее упреждал прихожан с амвона в церкви, как будто закон издавал: чтобы ради общего спокойствия в Килоране никто не покупал у Падди Линдона грибов; потому что, если Падди Линдону удавалось их продать, он напивался и становился совсем дикий. «Бегает взад-вперед по пристани, — рассказывал Хенри, — и орет по-птичьи».

Хенри сам был из Килорана, рыбацкая семья, семь человек детей, но с тех пор, как женился на Бриджит, в море ходить перестал. «Я в море даже и не купался ни разу в жизни», — часто говаривал он Люси по дороге на маслобойню и почему-то очень этим гордился. А Люси когда-то пересказывала ему истории, которые ей читала мама, из книжки братьев Гримм; или те, что читала Китти Тереза.

— Ума не приложу, что бы мы делали, не будь у нас лишней кружки молока, — сказал Хенри, когда они в первый раз после всего случившегося поехали на маслобойню; просто, чтобы завязать

разговор. — Только молоком на жизнь и зарабатываем.

На большее его не хватило. Настроение было не самое подходящее для обычных воспоминаний из детства — про ноябрьский шторм, когда с домов в Килоране посрывало камышовые крыши, про то лето, когда на пляже устроили состязания по верховой езде, и, конечно, про то, что бывало, если Падди Линдону удавалось продать грибы.

— Ну, ты же ведь ничего плохого не хотела, маленькая моя? — Он еще раз попытался завязать разговор, когда пауза затянулась. — Мы же все прекрасно это понимаем, так ведь.

— Именно плохого я и хотела.

Люси взяла вожжи просто потому, что ей их дали, грубую веревку, которая колет ладони и пальцы, непривычную после вожжей таратайки.

— Они вернутся когда-нибудь, а, Хенри?

— Ну конечно вернутся, с чего бы им не вернуться?

Снова повисло молчание. Оно длилось всю дорогу до шоссе и всю дорогу до маслобойни, где Хенри подал телегу задком к разгрузочной платформе. С сигаретой во рту, переговариваясь с десятником, он выгрузил фляги с молоком, а потом забрался обратно в телегу. Вожжи он взял

сам, потому что иногда было непросто выезжать со двора между другими телегами. У ворот он подобрал две пустые фляги.

— Они никогда не вернутся, — сказала Люси.

— Как только узнают, что ты здесь, в ту же минуту пустятся в обратную дорогу. Это я тебе обещаю.

— А откуда они об этом узнают, а, Хенри?

— Ну, придет от них письмо, а Бриджит напишет обратно. Или мистер Салливан их разыщет. Во всем графстве Корк нет человека умнее Алоизиуса Салливана. Сколько раз я это слышал от людей, сколько раз. Может, заедем, лимонаду выпьем?

Им все равно нужно было заехать в придорожный магазинчик миссис Мак-Брайд, купить всего того, что Бриджит написала на клочке бумаги. Но Хенри сделал вид, что мысль пригласить девочку выпить лимонада только что пришла ему в голову.

— Ладно, — сказала она.

Миссис Мак-Брайд будет стараться не пялиться на нее все время. Как и все остальные. Даже мистер Эйлворд. Всего один раз, но она все равно заметила. Из-за того, что она сделала; и еще из-за того, что хромает. На игровой площадке Эди Хос-

форд по-прежнему даже близко к ней подходить не хочет.

— Найдется у вас печенье для нашей мисси? — спросил Хенри, зайдя в магазин, и большое лицо миссис Мак-Брайд как-то разом выставилось в сторону Люси. Совсем как тот клин, которым Хенри раскалывает бревна, тяжелое и книзу острое.

— Сливочные, «Керри», так ведь? — спросила миссис Мак-Брайд, и зубы у нее тоже выставились наружу. — «Керри» будут в самую тютельку, сливочные, да, Люси?

Она сказала, да, будут, хотя и не понимала, что такое тютелька. Может так выйти, что когда они приедут домой, письмо уже придет. Бриджит будет их ждать и махать им рукой издалека, а когда они подъедут ближе, она им все скажет, и будет смеяться, и сама не своя. Лицо у нее будет красное, и она будет плакать и смеяться одновременно.

— Вот погодка-то стоит, а, Хенри? — сказала миссис Мак-Брайд, наливая Хенри стаута[9] прежде, чем заняться всем прочим. — Как ни крути, а для апреля просто чудо!

— Да, это уж точно.

— Ну, и слава богу.

---

[9] Примечания: 9
Крепкое темное пиво.

Бриджит скажет, что надо приготовить к их приезду комнаты и что ей одной не справиться. Они поставят в комнатах цветы и откроют окна. И разложат в постелях бутылки с горячей водой. «Надо вывести таратайку», — скажет Хенри, а потом вычистит ее всю, чтоб была наготове. Они будут то и дело оттягивать на нее, но это не в счет. И все те разы, когда они на нее оттягивали, тоже теперь будут не в счет.

— Я-то помню, кто у нас любит «Керри-сливочные», — сказала миссис Мак-Брайд. Она обошла прилавок кругом, туда, где на самом краю стояли банки с печеньем под стеклянными крышками. Она отвинтила крышку на банке с «Керри-сливочными», и Люси взяла одно печенье.

В самый первый раз, когда они с Хенри ездили на маслобойню, он поднял ее и посадил на прилавок, и она сидела там и пила лимонад, и в первый раз видела, как пенится стаут, когда его наливают в стакан. Ей было шесть лет.

— Дайте десяток, — сказал Хенри, а миссис Мак-Брайд сказала, что у нее только по пять, и Хенри сказал, ладно, пусть будет две по пять.

Он всегда курил «Вудбайн». Единственный раз пробовал другие сигареты, «Керри-блу». Как-то раз он сказал об этом Люси. И показал пачку от

«Керри-блу», с собакой. А папа курил «Свит-Афтон».

— Как сама-то, а, Хенри?

— Слава богу.

— Список с собой?

Он отыскал написанный Бриджит список, протянул его через прилавок, и миссис Мак-Брайд стала собирать все по списку. Миссис Мак-Брайд тоже перестала ее любить, хоть и угощает печеньем. Миссис Мак-Брайд такая же, как все прочие, кроме Хенри и Бриджит.

— А клубничного джема нет, Хенри. Только малиновый, в фунтовых банках.

— И малиновый сойдет, а, как ты думаешь, Люси? Пойдет у нас малиновый?

Она кивнула, уткнувшись в стакан; говорить ей не хотелось, потому что тут была миссис Мак-Брайд. И мистер Салливан тоже пока ее не любит.

— Возьмите, он от Кейлера, у них джем всегда хороший, — сказала миссис Мак-Брайд.

— Лучше не бывает, — согласился Хенри, хотя Люси ни разу в жизни не видела, чтобы он намазывал себе джемом хлеб.

Масло он клал толстым слоем и иногда присыпал сверху солью. Он часто говорил, что у него

сладкий зуб не вырос.

— Из белой сливы тоже ничего, — сказала миссис Мак-Брайд, а потом стала рассказывать про сандвичи с мясом, которые она делала для солдатиков, они тут проходили мимо, ночью. Из лагеря в Инниселе, а шли в Олд-Форт-Кроссроудс, на танцы. И по дороге проголодались, сказала она. — Майк слишком большие сандвичи делает, — сказала она, имея в виду мужа. — Толстые, как две ступеньки. А ребята все молодые, никто из них и рта настолько разинуть не мог.

Люси перестала их слушать и принялась читать рекламу: мыло Райана, солонина, и виски, и стаут под названием «Гиннес». Как-то раз, увидев такую же рекламку, она спросила папу, что такое гиннес, и он сказал: то самое, что пьет Хенри. Они уехали и забыли бутылку виски, чуть початую. Называется «Пауэре».

— Спасибо, — сказала она, когда они забрались обратно в телегу и Хенри прикурил очередную сигарету.

Бумажные пакеты с бакалейными товарами лежали у них под ногами. Далеко впереди две другие телеги тоже везли домой пустые фляги.

— Пошла, — сказал Хенри лошади и тряхнул вожжами.

Он сдвинул шляпу на затылок, чуть-чуть, так, чтобы солнышко попадало на лоб. На лице у него уже проступили первые веснушки.

8

Она смотрела, как исчезает и возвращается бабочка, как торжествующе взлетают иссохшие пальцы волшебника, и розовые с золотом крылья бабочки медленно складываются. Выражение лица у волшебника всегда было одно и то же. Одна и та же улыбка в густой сеточке морщин, один и тот же взгляд и пергаментного цвета кожа. Двигались только руки.

На лестнице послышались шаги Эверарда, и в замке провернулся ключ. Зашел еще на вокзал, сказал он.

— Ты так добр ко мне! — прошептала Хелоиз.

Месяц за месяцем, пока она отдыхала, он читал ей по-английски из книг, которые отыскивал у книгопродавца в двух кварталах от дома. Он готовил ей еду и стирал ночные рубашки, он причесывал ее и покупал ей косметику. Он слушал ее всякий раз, как ей приходили в голову воспоминания из детства. Он ходил на воскресные ярмарки и возвращался с чашечками, и блюдцами, и тарелками, и с фарфоровыми безделушками, для того, чтобы комнаты казались более уютными, и заменял новыми вещами те,

что уже надоели.

Она смотрела, как он заводит механизм волшебника. Он купил эту заводную игрушку, чтобы отвлечь ее от ненужных мыслей, пока она отдыхает, а потом однажды утром у нее случился выкидыш, послали за доктором, и доктор, когда узнал, что раньше у нее тоже были выкидыши, стал очень скуп на слова. Сочувственно, но твердо, он сказал, что больше такого рода попыток делать не стоит.

— Ну, если ты так хочешь, — сказала она, когда игрушка остановилась. — Да, конечно, это будет очень мило.

Опасаясь, как бы ее нынешняя апатия не затянулась навсегда, капитан предложил отправиться в поездку по великим итальянским городам.

— Просто для того, — настаивал он, — чтобы немного развеяться, неделю здесь, неделю там.

Он стал читать ей из только что купленного путеводителя, показывать картинки с разными зданиями и статуями, мозаиками и фресками.

— Ну, конечно, — откликнулась Хелоиз на его дальнейшие уговоры. — Малая толика разнообразия нам бы не помешала.

Впрочем, Монтемарморео давало ей все необходимое разнообразие — она могла бы ответить

и так. Их маленькая *appartamento* над мастерской башмачника, их вещи, которых становится все больше, прогулки, которые теперь смело можно будет возобновить — от всего этого на душе становилось спокойней. Оттого, что *cucchiaio* значит ложка, *seggiola* — стул, а *finestra* — окно, оттого, что каждое утро на другой стороне улицы сторож в «Кредите итальяно» открывает двери, чтобы клерки могли войти в банк, оттого, что женщина в «Фьори и Фрутта» перестала говорить с ней односложно, оттого, что она просыпается под перезвон колоколов в церкви св. Цецилии, святой, которая так смело встретила выпавшие на ее долю муки, что ее пример вот уже многие сотни лет одушевляет весь этот город; от всего этого на душе становилось спокойней, настолько, насколько это вообще было возможно.

Снова поднялись бледные руки волшебника, бабочка появилась, исчезла и появилась снова. Детали, взятые из железнодорожного расписания на вокзале — удобные поезда, порядок, в котором они станут переезжать их города в город, — зазвучали тусклым фоном.

— Может быть, сегодня, — предложила через некоторое время Хелоиз, — откроем вино чуть пораньше?

9

Мистер Салливан обещал, что станет приезжать впредь, и слово свое сдержал. Еще из Иниселы наведывался каноник Кросби, чтобы убедиться в том, что Люси воспитывается в протестантской вере. По воскресеньям Бриджит и Хенри ездили к мессе и брали Люси с собой в Килоран, где ей приходилось ждать полчаса, прежде чем в крохотной хибарке из крашенного в зеленый цвет рифленого железа начнется служба для маленькой местной общины Ирландской церкви. Каноник Кросби знал, что она ходит к воскресной службе в Килоран, потому что службы там проводил его же собственный викарий, но ему хотелось лично убедиться в том, как идут дела в Лахардане.

— И молитвы ты тоже читаешь каждый день, да, Люси? — Старость казалась врожденной и неотъемлемой чертой каноника Кросби, столь же естественной, как кипенно-белая седина и ласковая улыбка.

Он подмигнул Люси поверх чайного прибора и всего того, что Бриджит подала ему к чаю.

— Сможешь прочесть «Отче наш», а, Люси?

— «Отче наш, Иже еси на небесех», — начала Люси и прочла молитву до самого конца.

— Ну что ж, прекрасно, прекрасно.

Перед тем как уйти, каноник Кросби дал ей книгу под названием «Девочки из школы св. Моники», заметив, как бы про себя, что, сложись обстоятельства иначе, ее бы и саму к настоящему моменту уже отправили в какую-нибудь закрытую частную школу. Священник, вне всякого сомнения, имел в виду, что родители распорядились бы судьбой своей дочери именно так, однако, чуть позже, когда он затронул эту тему в разговоре с Алоизиусом Салливаном, ему недвусмысленно дали понять, что средств на что-либо подобное при существующем положении вещей нет и взять неоткуда. До тех пор пока не вернутся ее родители, на что, конечно, надлежит всячески надеяться, Люси Голт будет получать образование в маленькой классной комнате мистера Эйлворда.

К этому времени то временное затишье, которое последовало за ирландским восстанием,

сменилось гражданской войной[10]. Вновь созданное Ирландское свободное государство эта война раздирала на части, жестоко и кроваво, так же как раздирала города, деревни и семьи. В свершении судеб была своя жутковатая красота, но за ней волочился шлейф из страданий и горя, которые не давали о себе забыть еще долгое время после того, как в мае 1923 года закончился сам конфликт[11]. В конце того же месяца мистер Салливан получил письмо от мисс Шамбрэ с извещением о том, что тетушка Хелоиз Голт — которая, после того как ее здоровье слегка улучшилось, получила известие об отъезде племянницы из Ирландии — была охвачена порывом к семейному воссоединению. Узнав, что нынешнее место жительства Хелоиз неизвестно, она дала мисс Шамбрэ частное поручение разместить объявления в нескольких

---

[10] Примечания: 10

Между сторонниками созданного в результате договора с Великобританией Ирландского свободного государства (фристейтерами) и радикальным крылом Ирландской республиканской армии (ИРА) и партии Шин фейн, сторонниками полностью независимой от Британской империи Ирландской Республики.

[11] Примечания: 11

Гражданская война закончилась вскоре после того, как 27 апреля 1923 года лидер партии Шин фейн и подпольного правительства Ирландской Республики Имон Де Валера обратился к соединениям ИРА с призывом спрятать оружие до лучших времен. К этому времени силы ИРА и без того были практически разгромлены, а ряд харизматических лидеров вроде главнокомандующего Л. Линча погибли в боях.

английских газетах. То обстоятельство, что ответа на объявления не последовало, стало предметом самого горького разочарования. *Что касается меня, то ничего другого я и не ожидала,* — писала мисс Шамбрэ, — *однако, исключительно для того, чтобы уберечь душевное спокойствие пожилой леди, я прошу Вас в том случае, если Вы получите какие-то известия о Хелоиз Голт, сообщить об этом мне. О поведении ее ребенка я мою работодательницу, естественно, в известность не ставила.*

Мистер Салливан вздохнул, прочтя это письмо. Он мог бы заметить в ответ, что поведение Люси Голт уже повлекло за собой весьма суровое наказание, подтверждением чему могут служить как сведения, полученные от Бриджит, так и его собственные наблюдения. А суета, возникшая вокруг Лахардана, была абсолютно непродуктивна, впрочем как и его собственная ажитация по этому поводу, когда ему случалось подолгу размышлять на данную тему, — и он вполне отдавал себе в этом отчет. Он жил один, если не считать домохозяйки, и всю глубину своих чувств был вынужден держать при себе, лишь изредка, да и то без особой пользы, касаясь этой темы в присутствии своего клерка.

Бриджит тоже довольно часто просыпалась среди ночи, охваченная точно такой же тревогой, а потом подолгу лежала без сна и ждала, когда наконец Хенри откроет глаза, чтобы можно было попросить его в сотый раз рассказать о том, как он обнаружил невесть откуда взявшуюся кучку тряпья среди бурьяна и выпавших из стены камней. Пес, с которым девочка водила дружбу, убежал как-то раз и больше не появлялся; Бриджит, как и Хенри, углядела в этом некую связь со всеми предшествующими событиями, но время шло, и постепенно им обоим стало казаться, что они навыдумывали лишнего.

Но если в Лахардане такого рода совпадения были частью общего болезненно переживаемого слома в привычном ходе вещей, то за его пределами история о том, как беда пришла в господское поместье, заняла свое место среди других историй о Времени Бедствий, которые пересказывались по соседству, — в Килоране и Клэшморе, в Рингвилле и на улицах Иннисселы. Трагедия, которую девочка сама навлекла на свою голову, а также скорбные последствия оной служили темой для пересудов и казались чужакам частью местного фольклора. Люди, приезжавшие по той или иной надобности в этот тихий прибрежный район,

слушали и удивлялись. Коммерсанты, которые получали заказы на свой товар через стойку придорожных магазинчиков, разнесли эту историю по другим, порой весьма далеким городам. С ее помощью всегда можно было оживить разговор за стойкой бара, за столиком в чайной или за карточным столом.

Исполнители зачастую пытались улучшить историю за счет преувеличений: обычное дело с такого рода бродячими сюжетами. Сторонние факты подшивались к делу там, где казались уместными, и повторные пересказы придавали им вес. Коллективная память, растревоженная рассказами о событиях в Лахардане, принялась заглядывать в другие дома, рыться в чужих семейных хрониках: Голты сами навлекли на себя столь страшный удар судьбы, во время оно предательским образом отправив на виселицу одного из своих слуг, ни в грош не ставя общественное мнение, принимая собственное привилегированное положение как данность и кичась этим. В разговорах, спровоцированных этими историями, разного рода тонкости и неопределенности, мешающие плавному течению повествования, отметались с порога. Скудная логика факта была дополнена и приукрашена и, вне всякого со-

мнения, сделалась много лучше. Путешествие, в которое отправились убитые горем родители, превратилось в паломничество к святым местам в поисках искупления за грехи, суть которых варьировалась от рассказа к рассказу.

* * *

— «Великий герцог Йоркский, — пели дети на рождественской вечеринке в классной комнате мистера Эйлворда, — вел тысячи солдат…»

Доска и таблицы с правилами письма были украшены воздушными шариками, ветви падуба красовались на картах и на портретах королей и королев, выполненных самим мистером Эйлвордом. Дети, все пятнадцать человек, сидели на скамейках вокруг четырех столов, сдвинутых в один большой стол, а на столе был чай, и сандвичи, и пончики из дрожжевого теста, и кексы с написанными сверху цифрами. В комнате царила полумгла. Мистер Эйлворд позаимствовал где-то занавески и теперь показывал тени на белой простыне: кролика, птицу, сморщенного старикашку в профиль.

Потом Люси шла домой по пляжу, одна в густеющей мгле, и рядом с ней бесновалось дикое зимнее море. Как всегда, она надеялась, что вот

сейчас опять появится безымянная псина, скатится, нога за ногу, с откоса, погавкивая на бегу, — как всегда. Но двигалось на пляже только то, что двигал ветер, и слышно было только ветер, тоскливый бесконечный вой, и еще грохотали в берег волны. «Не подходи ко мне», — опять сказала Эди Хосфорд, когда они играли в апельсины-лимоны и Люси попыталась до нее дотронуться.

Два

1

Февральским утром служащий, подметавший платформу железнодорожного вокзала в Инниселе, поймал себя на том, что вспоминает давний случай, когда его ранили в плечо, из ружья, из окошка в верхнем этаже. Ему вспомнились те времена, потому что ночью он увидел про это сон — про то, как показывает людям рану, показывает темное пятно на свитере, где шерсть пропиталась кровью, и рассказывает им, как пуля прорвала плоть, но не застряла. Во сне рука у него опять висела на перевязи, и на улицах мужчины постарше провожали его одобрительными взглядами и приглашали в любую из полудюжины местных ячеек — на выбор. Они чествовали его как повстанца, хотя он никогда не принадлежал ни к какой революционной организации. «Ты только посмотри, что они с тобой сделали! — крикнула ему из дверей в питейное и бакалейное заведение Фелана старуха-нищенка. — Они теперь по нам из ружей стреляют!» Ту же фразу сказал ему на улице и «христианский брат», тот самый, который больно щипал его за шею, когда у него не сходился с ответом длинный пример

на деление или когда он путал ольстерские графства с коннахтскими. Его пригласили к Фелану, чтобы он смог всем показать свою рану, и ребята у стойки сказали, что ему еще повезло, что жив остался. В его сне они были все: и нищенка, и «христианский брат», и ребята у стойки — и все подняли стаканы в его честь.

Сметая привокзальный мусор на следующий день после того, как сон приснился ему в первый раз, служащий понял, что с трудом отличает увиденное во сне от тех давнишних впечатлений, которые послужили для сна основой. Так и не разобравшись, что здесь сон, а что явь, он в то утро одну-единственную вещь ощутил наверняка: чувство одиночества. Его тогдашние товарищи оба с тех пор успели эмигрировать — один уже давно, а другой совсем недавно. Отец, который когда-то столь сурово отказался принять извинения и компенсацию за нанесенное увечье, умер месяц тому назад. Отец, пока был жив, неизменно гордился этим происшествием, тем более что за ним в скором времени воспоследовал отъезд — и, как видно, навсегда — бывшего офицера британской армии и его англичанки-жены. В том, что они по ошибке поверили в смерть своей дочери, он видел не более чем заслуженную кару; отец

служащего часто высказывался на сей счет, но когда он все то же самое сказал во сне, служащему стало не по себе, чего в действительности с ним никогда не случалось.

Стоял февраль, и день выдался холодный.

— Подбрось угля в камин в зале ожидания, — раздался голос, и пока служащий ставил совок и щетку в угол станционного ангара, пока он разбирался с камином в зале ожидания и, не жалея, подбрасывал туда угля, беспокойство в нем не унималось.

Во сне он видел, как пузырями вздулись занавески в окнах дома, белея в полуночной тьме. И — безжизненное тело девочки.

Прошел день. И по мере того как день уходил за днем, те люди, которые были знакомы со станционным служащим, стали обращать внимание на то, что он стал каким-то замкнутым, реже вступал на платформе в случайный разговор с пассажирами и как будто все время о чем-то думал. По ночам его изводил навязчивый сон, в котором все было как взаправду и каждый раз одно и то же. Проснувшись, он неизменно ощущал потребность вычислить возраст девочки, оставшейся без родителей, а когда он решил навести справки, ему сказали, что родители с тех пор так и не нашлись.

Во сне именно он давал псам отраву; именно он разбивал стекло и плескал бензином внутрь еще до того, как его ранили; он же и зажигал спичку. Однажды среди бела дня, занимаясь побелкой бордюров вокруг станционных клумб, он увидел, ясно, как во сне, занявшиеся занавески.

Не прошло и года, как он ушел с должности станционного служащего и выучился на маляра. Потом он часто думал, зачем так поступил, и поначалу не понимал зачем. Потом по какому-то наитию до него дошло: почему-то он представлял себе, что день у маляра занят куда плотнее, что, если он будет шлифовать шкуркой двери и косяки, замешивать шпатлевку и разводить краски, времени на то, чтобы думать, у него останется много меньше. И в этом, к сожалению, он ошибался.

Работая паяльной лампой, соскребая старую краску и нанося слой за слоем новую, он стал ловить себя на том, что ему трудно отделить реальность от сна, даже труднее, чем тогда, когда он работал станционным служащим. После того как раздался выстрел, ему помогли. Товарищи отыскали спрятанные в укромном месте велосипеды и стали ему помогать, когда выяснилось, что он со своим сладить не в состоянии. Кани-

стры с бензином, залитые под завязку, остались возле дома, потому что в спешке про них совсем забыли. Он постоянно объяснял это самому себе, прекрасно зная, что это правда, но его продолжало мучить какое-то чувство несоответствия. К его белому комбинезону все привыкли так же быстро, как когда-то к форме железнодорожного служащего, он был тихий и трудолюбивый человек, и в окружающих это вызывало уважение, но о своем наваждении он никому не говорил — ни матери, ни нанимателю, ни тем людям, которые останавливались, чтобы поговорить с ним, пока он работал. Вот таким полуподпольным образом он и существовал, ежедневно убеждая себя в том, что самое страшное из совершенных им преступлений закончилось смертью трех собак, как бы ни пыталась собственная память убедить его в обратном. Но затем, снова и снова, ему являлось тело мертвой девочки.

2

Закончив школу мистера Эйлворда, Люси обнаружила, что свободного времени у нее теперь куда больше прежнего, и принялась читать книги из шкафов в гостиной. Книги сплошь были старые, их корешки она помнила столько, сколько помнила себя. Но, открыв их, она оказалась втянута в новый и незнакомый мир, в другие века и страны, в романтические и невероятно сложные переплетения чужих судеб, в жизнь людей, совершенно непохожих друг на друга, таких, как Роза Дартл[12] или Джайлз Уинтерборн[13], в промозглый лондонский туман и под палящее солнце Мадагаскара. А когда она прочла почти все, что только можно было прочесть в гостиной, к ее услугам были книжные шкафы на лестничной площадке первого этажа и еще — в бывшей маленькой столовой.

О досках, которыми когда-то на очень короткое

---

[12] Примечания: 12

Персонаж из романа Чарлза Диккенса «Дэвид Копперфилд».

[13] Примечания: 13

Один из основных персонажей в романе Томаса Харди «The Woodlenders».

время заколотили окна, почти уже никто не помнил; простыни, снятые с мебели, давно пошли на какие-то хозяйственные нужды. Когда отпала надобность ходить в школу, единственными и каждодневными товарищами Люси остались Хенри и Бриджит, которые относились к ней так же тепло и ласково, как когда-то в детстве. Если она шла через пастбище, а где-нибудь поблизости работал мистер О'Рейли, он обязательно махал ей рукой, так же как в былые времена.

Мистер Салливан и каноник Кросби также не оставляли своими заботами одинокую девочку, несмотря на то что детство кончилось. Они по-прежнему наезжали в Лахардан и всегда привозили подарки на день рождения и на Рождество. А взамен имели возможность выбрать рождественскую индейку из тех, что Хенри разводил на заднем дворе.

— Единственное, что меня смущает, — признался как-то раз каноник Кросби, — а правильно ли то, что столь юная особа живет совсем одна, за мили и мили от… от всего прочего?

Всякий раз, как это смущало священника, он получал один и тот же ответ: уж так сложилось, констатировала Бриджит.

— А она вообще когда-нибудь делилась своими

планами на будущее? — не отставал каноник Кросби. — Есть у нее какие-нибудь предпочтения?

— Предпочтения?

— В отношении того или иного призвания? Для того, чтобы, ну, для того, чтобы как-то почувствовать связь с миром?

— Ну, с этим-то у нее все в порядке, сэр. Она же каждую ракушку на пляже знает в лицо и чуть не расцеловать готова. Вот такая уж она у нас. И всегда была такая, с самого рождения.

— Но я же совсем не о том говорю! Девушка не должна испытывать чувств к раковинам. Раковины — не самая подходящая для нее компания.

— Есть Хенри. И я.

— Да, конечно. Разумеется. Это для нее просто дар Божий, Бриджит, и вам за вашу доброту воздастся. Вы столько для нее сделали!

— Я же не говорю, сэр, что так оно и должно быть. Я просто говорю, что мы с Хенри делаем все, что в наших силах.

— Да, конечно. Конечно-конечно. Вы просто чудо сотворили. Никто и не отрицает того, что это действительно чудо! — Каноник Кросби очень разволновался; потом немного помолчал. — Бриджит, вот о чем я хотел вас спросить: она по-прежнему верит в то, что они вернутся?

— И никогда не переставала в это верить. Только этого и ждет.

— Я знавал ее отца, когда лет ему было столько же, сколько ей сейчас, — продолжил, помолчав, старик священник.

Голос его звучал слабо, так, словно он заранее смирился с поражением: сколько ни говори теперь, дело с места все равно не сдвинется.

— «Эверард Голт женился на красавице», сказала мне миссис Кросби, которой довелось познакомиться с миссис Голт раньше, чем мне. «Ну что ж, вот ему и воздалось за прежнее», сказала миссис Кросби, потому что своей семьи у Эверарда Голта не осталось, мы же все об этом знали. С тех пор у нее была слабость к Хелоиз Голт. Или, вернее сказать, к ним обоим. Ну, конечно, и у меня то же самое.

— Мы с Хенри…

— Я знаю, Бриджит, знаю. Просто, видите ли, мы вот так сидим иногда по вечерам у себя дома и думаем, что девочка тут совсем одна, ну, то есть нет, конечно, не совсем одна, но все ж таки ей тут довольно одиноко. И мы тоже не оставляем надежды, Бриджит, конечно, и мы тоже.

— Она теперь пчелками, занялась.

— Пчелками?

— У капитана в саду всегда стояли ульи. Мы медом-то совсем не занимались, когда он уехал, у Хенри к этому душа не лежит, а она вот опять все наладила.

Каноник Кросби кивнул. Ну, это все-таки кое-что, сказал он. Лучше пчелы, чем вообще ничего.

* * *

Постепенно всем стало казаться, что с капитаном Голтом и его женой что-то случилось; что они нежданно-негаданно оказались без средств к существованию, фобия, весьма характерная для тогдашних времен; что они попали в какую-нибудь катастрофу. То одна, то другая трагедия прямиком с газетной полосы попадала в их историю, которая становилась тем популярнее, чем чаще ее пересказывали. Отсутствие объекта делает из догадки реальность, часто повторял мистер Салливан и сам же грешил догадками, потому что не строить их было никак не возможно. «Здесь, в Ирландии, это трагедия всеобщая, — слышали от него в те дни многие люди, — ибо в силу тех или иных причин мы постоянно оказываемся вынуждены бежать от вещей, которыми более всего дорожим. Наши патриоты были разбиты и

уехали, и наши великие графы[14], наши эмигранты времен голода[15], а теперь — наши бедняки в поисках работы и пропитания. Изгнание — часть нашей природы».

Сам он не верил, что капитана Голта и его супругу постигли еще какие-то — естественные или сверхъестественные — злоключения. Изгнанники так или иначе свыкаются со своим новым статусом и часто приобретают свойства, ранее для них не характерные. Он часто наблюдал эту особенность за теми из уехавших, кто возвращался назад в Иниселу, — и чувствовали они себя не на месте и не у дел, и город им казался слишком маленьким, но было ощущение, что за время отсутствия они сделались немного мудрей. И можно ли винить Эверарда Голта и

[14] Примечания: 14

Речь идет о лидерах антианглийской Северной лиги (1594–1603), ольстерских графах Тироне и Тирконнеле, которые с началом боевых действий приняли свои прежние, ирландские имена (Гут О'Нил и Рори О'Доннел), причем в случае в О'Нилом это означало претензию на ольстерскую и даже на ирландскую королевскую корону. К восстанию присоединились также лейнстерские кланы О'Коннноров и О'Муров. Ирландцев поддерживали деньгами и оружием (и даже экспедиционным корпусом в 1600 г.) испанцы, крайне заинтересованные в ослаблении своего главного политического и военного противника, Великобритании: также как в конце XVIII века ирландское восстание будут провоцировать и спонсировать французы, а во время Первой мировой войны — немцы. После капитуляции испанского корпуса и разгрома войск Северной лиги Тирон и Тирконнел отошли на земли собственных кланов, а в сентябре 1807 года вместе с семьями бежали на французском корабле через Фландрию в Рим.

[15] Примечания: 15

Голод 1845–1847 годов, ставший результатом хронического трехлетнего неурожая на основную для ирландского крестьянина сельскохозяйственную культуру — картофель, — привел к гибели огромного количества людей (до 1 млн. человек при населении на 1841 г. в 8 млн. 222 тыс.) и массовой эмиграции — прежде всего в США, — которая продолжалась, то затухая, то снова нарастая, фактически до середины XX века.

его жену, придавленных грузом горя, в том, что они попытались начать все заново, на новом месте, где все не так, как дома? Он уже десять раз пожалел о том, что нанял недостаточно профессионального частного сыщика, который не смог как следует прошерстить швейцарские города и веси, тем более что сейчас потраченные на эту бессмысленную авантюру деньги были бы очень кстати, — впрочем, все мы умны задним умом. Еще его выводило из себя то обстоятельство, что эта женщина, Шамбрэ, разместила объявления исключительно в английских газетах, тогда как он четко и ясно дал ей понять, что уехавшая пара остановится где угодно, но только не в Англии. Профессиональная привычка все делать хорошо и с достоинством также его подвела, и он многое запутал сам, до последней возможности скрывая собственное виденье ситуации — с тем, как на данный момент обстояли дела в Лахардане, жить было проще, чем с воспоминанием о неоднократно сказанной фразе: все будет хорошо.

* * *

С другой стороны, Люси практически не думала о природе изгнанничества, со временем приняв сложившееся положение вещей как данность,

так же, как собственную хромоту или как отражение в зеркале. Если бы каноник Кросби набрался смелости поднять в разговоре с ней тему выхода в большой мир, она бы ответила ему, что природа и основные принципы ее существования на этом свете уже определились. Она ждет, сказала бы она ему, и в этом ожидании суть ее веры. Комнаты, все до одной, в чистоте и порядке; каждый стул, каждый стол, каждая безделушка на каминной полке именно такие, какими их помнят родители. Летом — вазы, полные цветов; и пчелы, и ее шаги по лестнице, по комнатам и лестничным площадкам, по вымощенному голышами двору и по гравию — вот и все, что она может им предложить. Она не одинока; иногда ей бывает трудно даже вспомнить состояние одиночества. «Да бросьте вы, мне тут хорошо, — уверила бы она священника, задай он ей такой вопрос. — Я, можно сказать, почти что счастлива».

К двадцать первому дню ее рождения, как всегда, пришли подарки от священника, от его супруги, от мистера Салливана. Потом, в теплом свете вечернего солнца, она лежала и читала в яблоневом саду очередной роман, оставленный предшествующими поколениями. Люси Голт, в ее двадцать один год, вполне хватало тех впечат-

лений от большого мира, которые можно было получить, заглянув в Незерфилд.

* * *

Образы *Sacra Conversazione*[16] так и не смогли окончательно стереть из памяти воспоминаний об английских сумерках, которые понемногу сгущаются ближе ко второй половине дня. Сквозь детали композиции, выписанные кистью Беллини, — сквозь мраморные колонны и покрытые листвой деревья, сквозь одежды глубоких синего, зеленого и алого тонов — просвечивали чайные чашки на палисандровом столе, и затуманенные стекла окон, и перебегающие по углям в камине язычки пламени; примерно час тому назад Хелоиз зажгла в памяти мужа эти воспоминания, и они все еще тлели.

Он никогда не был лично знаком с той женщиной, которую именно так, во время чая, известили о том, что она вдова, но теперь он видел ее почти воочию, бесплотную тень в окружении Девы Марии, ее младенца и неестественно серьезного музыканта. Фигуры на полотне были расположены впритирку друг к другу, и все-таки казалось,

---

[16] Примечания: 16
Святая беседа (итал.).

что каждый из этих людей — сам по себе. Телеграмма, куда как менее замысловатая деталь, лежала на палисандровой столешнице, пробили часы в прихожей. «Ледисмит»[17], — сказала мать Хелоиз.

В самую жаркую пору дня в церкви было прохладно, оттуда, где трудился ризничий, разносился запах полировки. Чаша для святой воды была почти пуста; снаружи на ступеньках просил подаяния нищий.

— Нет, позволь, пожалуйста, мне самой, — умоляющим тоном сказала Хелоиз, порылась в сумочке и опустила монету в протянутую к ней руку.

Они прошлись по узкому переулку, куда совсем не попадал солнечный свет, медленно, не торопясь выныривать в послеполуденное марево. Она подсчитала, что тогда, за чаем, ей было шестнадцать лет.

— Почему ты так добр со мной, Эверард? Почему ты так терпеливо меня слушаешь?

— Может быть, просто потому, что я тебя люблю.

— Ах, если бы у меня было побольше сил!

---

[17] Примечания: 17

Город в Южной Африке, в районе которого произошло одно из сражений на раннем, удачном для буров этапе Англо-бурской войны.

Он не сказал ей, что когда-то сил у нее было вполне достаточно, и не стал уверять, что они к ней вернутся. Он ничего на сей счет не знал. Она вызвала в памяти детские годы, и он, будучи не в состоянии ответить тем же, начал в ответ говорить о годах, проведенных в армии, расцвечивая уже не раз рассказанные истории новыми подробностями: о людях, которыми он командовал, внося свой скромный вклад в общее дело.

На Рива они заказали кофе. Прежде чем его успели принести, он услышал о доме тетушки-опекунши, где осиротевшая девочка провела последние годы детства.

— Они были совсем мальчишки, — сказал он сам и стал перечислять фамилии подчиненных. — Я часто вижу их лица.

Он смотрел, как ее тонкие пальцы роняют в чашку кусочек сахара, один, потом другой. Отчего-то это доставило ему удовольствие, настолько сильное, что он сам себе удивился. Во всяком случае, это была реальность, здесь и сейчас, подумал он; и порадовался еще раз, вероятно, по той же причине, когда искусственный разговор сам собой сошел на нет. Он написал в Лахардан. Он поинтересовался, как идут дела у бывших слуг, которые теперь превратились в смотрителей за

его имуществом, спросил о коровах и о доме. Он писал и раньше, но всякий раз останавливал сам себя, когда приходил момент отправить письмо. Придет ответ, который нужно будет получить тайком, начнется тайная переписка, и доверие, на котором с самого начала строился его брак, будет поставлено под вопрос. Он держал эти письма в потайном месте, с уже наклеенными и погашенными марками. На больший обман он пойти не мог.

— Как же здесь красиво! — сказала она.

Рядом с тем местом, где они сидели, причаливали и отваливали гондолы. Чуть дальше в канал медленно вползал со стороны моря пароходик. На борту баркаса тявкнула собака.

Когда стало прохладнее, они прошлись по Дзаттере. Проехали водой на Гвидекка. Вечером в церкви Сан Джиоббе была *Annunciadone.* Потом у Флориана играли вальсы.

В ту ночь, в «Пенсионе Бучинторо», пока муж спал, Хелоиз лежала рядом с ним без сна. Какое богатство, какая роскошь! — подумала она, вспомнив увиденные за день святыни и все то, что было при этом сказано. Сегодня она совсем не чувствовала себя всеми покинутой, и под влиянием взлелеянного за день ощущения эйфории

решила, что утром найдет в себе силы сказать главное: муж добр к ней, и она говорит ему об этом, он терпеливо слушает ее воспоминания о детстве, и она говорит ему об этом — вот только этого мало. «Мы с тобой играем в мертвых», — сорвалось у него однажды, а она так и не смогла объяснить, почему ей всегда будет хотеться обо всем забыть. Она уже слышала свой извиняющийся тон, слышала, как проговаривает все те вещи, о которых ей совсем не хотелось говорить; прежде чем закрыть глаза, она вдруг почувствовала, как фразы складываются сами собой. Но потом она уснула, и проснулась через несколько минут, и услышала собственный голос, который сказал: я не смогу об этом говорить, — и поняла, что права.

4

Хенри прикурил свой «Вудбайн» и бросил спичку на землю. Из-под арки, которая служила входом во двор, он разглядывал подъехавший автомобиль, — колеса, складное заднее сиденье, зеленую обивку кузова, маленькую эмблему на радиаторе, остроконечный капот, номерной знак IF-19. Матерчатый верх был опущен.

Он слышал, как подъезжала машина, а потом — как хрустит под колесами гравий. Ему подумалось, что это, должно быть, опять каноник Кросби или что стряпчий наконец получил какие-то важные новости, достаточное основание для того, чтобы съездить в Лахардан. Но голос, который он затем услышал оклик, извиняющаяся интонация, — не принадлежал ни тому, ни другому. Из дома вышла Люси, как обычно, когда кто-то приезжал.

— Вы кто? — спросила она, и водитель еще раз извинился, а потом выключил мотор, очевидно испугавшись, что она его плохо слышит.

Это был молодой человек, без жилета под пиджаком; а когда он вылез из автомобиля, Хенри заметил, что галстук у него зацеплен за верхнюю пуговицу фланелевых брюк, туго натянутый

вязаный галстук в зеленую, коричневую и фиолетовую полоску. Хенри никогда его раньше не видел.

— А я и не понял, что эта дорога ведет к дому.

— Вы кто такой? — еще раз спросила Люси, и в ответ прозвучало совершенно незнакомое Хенри имя.

Люси качнула головой, дав понять, что и ей оно тоже ни о чем не говорит.

Прислонившись к стене, по-прежнему сжимая в руке пачку «Вудбайна», Хенри вдруг вспомнил те времена, когда в дом приезжали не одни только стряпчий с каноником, а и другие тоже — Мореллы и люди из Рингвилла, люди из Инниселы и Каппоквина и даже из самого Клонмела. Были пикники, на пляж через поля несли корзины с едой, в саду и возле парников играли дети. Приезжала леди Рош из Монатрейна, и полковник Рош, и три сестры Эш, и старая миссис Кронин, и ее вертихвостка дочка, немолодая уже, которая както раз вместо приветствия поцеловала капитана. Никого из них Хенри не видел с зимы 1920 года и не знал, что с ними со всеми стало. Может быть, этот молодой человек, что бы он там ни говорил насчет дороги и дома, — один из тогдашних детишек, которые с тех пор успели вырасти?

— Она хочет угостить его чаем, — несколькими минутами позже сказала Бриджит в пристройке, где Хенри плотничал, зайдя туда, чтобы попросить его выставить раскладной столик на гортензиевую лужайку.

Щеки у Бриджит разрумянились, и Хенри вспомнил и этот румянец тоже — возбуждение, вызванное тем, что Бриджит называла «обществом».

Он смахнул со сложенных вместе планок паутину и пыль, а потом протер их тряпкой. На лужайке он смахнул с сидений двух белых железных стульев, встроенных в изгиб стены, нападавшие на них темно-голубые цветы гортензии. Ржавчину с ножек и перекладин надо бы счистить, а сами стулья наново покрасить. Как-нибудь в ближайшее время нужно непременно этим заняться, подумал Хенри, зная, что делать этого все равно не станет.

* * *

— Совсем не похоже было на подъездную аллею, — сказал Ральф. — И сторожка заколочена.

Он не заметил выцветших зеленых ворот, заросших крапивой и дягилем. Он все ехал и ехал под каштановым пологом, и вдруг прямо перед

ним оказался большой каменный дом.

— Это вы заехали в Лахардан, — сказала миссис Райал. — А девушку зовут Люси Голт.

Девушка, которая вышла из дома, не назвала своего имени. Женщина, которая расстелила на складном столе скатерть, в полном молчании расставила чашки и блюдца, а затем принесла молочник и чайник, ржаной хлеб, масло и медовые соты. У нее был большой деревянный поднос с чуть завернутыми вверх краями по кругу и с белыми фарфоровыми ручками.

Когда разлили чай, женщина вернулась, чтобы посмотреть, всего ли хватает, а потом еще раз: принесла сдобные булочки с изюмом.

— С IF-19 проблем не было? — спросил мистер Райал, и Ральф ответил, что с одолженной на вторую половину дня машиной не знал никаких забот.

— Очень мило с вашей стороны, — повторил он, уже во второй раз за сегодняшний вечер.

— Надо же вам как-то отдыхать от мальчишек.

Мистер Райал дал объявление о том, что подыскивает на летние месяцы репетитора для двоих своих сыновей, ибо, если судить по оценкам, с которыми те закончили подготовительную школу, подтягивать их нужно было по всем

предметам сразу. И Ральф, чьи планы, как на лето, так и вообще на всю последующую жизнь, были неопределенными, перебрался в квартиру, расположенную прямо над «Банком Ирландии», интересы которого в Иниселе представлял мистер Райал.

Невысокий и худощавый, с опрятными усиками, тот являл собой полную противоположность жене. Миссис Райал давно махнула рукой на собственные габариты, себе ни в чем не отказывала и не склонна была осуждать других людей: широта ее души словно бы сама собой предполагала телесное обилие и размашистость жестов. Сыновья у нее росли шалопаями, но и на сей счет она ничуть не переживала. Переживать — это по мужниной части, говаривала она, смутно намекая на то, что муж находит в переживаниях некую ему одному понятную радость.

Было половина десятого, в богато обставленной гостиной Райалов сгущалась полумгла. Объемистый сервант повторял мучительные изгибы столь же грандиозного комода. Комплект стульев строго соответствовал по-королевски изысканным, с обивкой в розовый цветочек, дивану и креслам. Цветы на обоях перекликались с рисунком на дамаскиновых портьерах, которые были

раздвинуты по сторонам, оставляя место тюлю. В дневное время суток верхние оконные панели закрывали синие сборные шторы с кистями.

На большом, из красного дерева столе был накрыт поздний ужин: в доме у миссис Райал никто не оставался голодным, вне зависимости от того, что показывали стрелки на часах. Масляную лампу с регулируемой высотой над столом зажигать не стали, но под лампой Ральфа ждали крекеры с кремом, сыр, кекс и сухое печенье. Мальчиков отправили по постелям час назад, и в чашках на столе остывали опивки какао.

— Вам, должно быть, никто не объяснил, — сказала миссис Райал, — что случилось в Лахардане.

Светловолосый, голубоглазый, с угловатыми, но приятными на свой собственный лад чертами лица, Ральф выслушал в пересказе Райалов всю историю с начала до конца, в двух регистрах: мистер Райал был точен и придерживался фактов, миссис Райал по мере необходимости педалировала эмоциональные обертоны.

— В городе до сих пор об этом говорят, — добавил мистер Райал, когда в рассказе сама собой возникла пауза.

Миссис Райал подтвердила сказанное, размазывая крем по крекеру.

— Я слышала, она прямо-таки красавицей выросла, — сказала она.

Когда Люси Голт улыбнулась, на щеке у нее возникла ямочка, и оттого улыбка вышла озорной. На переносице у нее были веснушки, глаза — бледно-лазоревые, а волосы — светлые, как пшеница. Этот образ всю обратную дорогу был вместе с Ральфом в салоне автомобиля и снова воскрес теперь, пока он слушал продолжение истории.

— Ко мне ведь тоже обращались, — сказал мистер Райал, — когда обнаружилось, что капитана Голта и миссис Голт никак не могут найти. Была надежда, что он попробует связаться со мной, хотя, честно говоря, я и тогда не понимал, с чего это вдруг. Он, естественно, так ничего мне и не прислал. Что, конечно же, само по себе весьма прискорбно.

Мистер Райал приспустил лампу и снял стеклянный абажур, чтобы поджечь фитиль. Миссис Райал отряхнула с груди крошки от крекера и встала из-за стола, чтобы опустить шторы.

— Ну, и как она вам, хорошенькая? — спросила миссис Райал. — А может, и впрямь красавица? Вы не находите, что Люси Голт — красавица, а, Ральф?

Ральф сказал: он находит, что так оно и есть.

* * *

В то лето Люси Голт оставалась красавицей до самой осени. Она была прекрасна в простом белом платье, когда солнечный свет вспыхивал на капельках серебра в ее простых, без камушков, серьгах. Это, должно быть, от матери остались, сказал мистер Райал, и платье, наверное, тоже; уезжали они в спешке, вот многое и оставили.

Когда в саду под раскидистым буком Ральф замечал, что его ученики все равно не слышат ни слова из того, что он пытался втемяшить им в головы, девушка из дома, который сам собой возник перед глазами, появлялась снова — каждое утро и потом еще раз, в сонные часы после обеда. Слушая краем уха, как Килдэр спрягает глаголы, и притворяясь, будто не замечает, как Джек рисует зверей на тыльной стороне тетрадной обложки, Ральф иногда начинал опасаться, что вот-вот, в силу какой-нибудь дурацкой случайности, проговорится сам: о том, какой серьезный у Люси Голт взгляд как раз перед тем, как она улыбнется, или о том, как она сидит, сложив на коленях руки, спокойные и белые, словно из мрамора. В его пугливых воспоминаниях она разливала чай, себе

и ему, и говорила о том, что не часто проезжие заворачивают к ним по ошибке.

— Есть река, Арар, которая течет по землям эдуев и секванов и впадает в Рону, — медленно повторял в саду возле банка Ральф. — *Est flumen,* Килдэр, есть река. *Quod influit per fines,* которая течет по землям. Ты понял, Килдэр?

Перевод был взят из «Ключей к классической литературе» доктора Джайлза, которые Ральф внимательно просмотрел ранним утром, лежа в постели.

– *Aeduorum el Sequanorum* — это как раз эдуи и секваны. Понял, Килдэр?

— Да, конечно.

— Ну что ж, давай посмотрим, справишься ли ты с *incredibile Imitate, ita ut non possit judicari oculis in utram partem fluat.*

Джек превратил равнобедренный треугольник в тарантула. Ральф начертил еще один треугольник, обозначив углы через А, В и С. На обоих мальчиках были мягкие белые шляпы, потому что солнышко сегодня припекало с самого утра.

— Ну, Джек, — сказал Ральф.

Каждую среду он проводил полдня в Инниселе, а вторые полдня был свободен. Мистер Райал по-прежнему давал ему свой автомобиль, рассчитав,

что если учителю, которого он нашел для своих оболтусов, станет совсем тоскливо в затхлой атмосфере маленького городка, то он выкинет тот же фортель, какой выкинул прошлогодний учитель, и попросту удерет отсюда. Ральф ездил в Дунгарван и бродил по тамошней округе, ездил в Каппоквин и бродил по тамошней округе, ездил в Балликоттон, Каслмартир и в Лисмор. В дом у обрыва он так больше ни разу и не заглянул. Его не приглашали.

— Так что мы знаем относительно AB и AC, а, Джек?

— Есть такие буквы в алфавите.

— Я имею в виду начерченные тобою отрезки. Стороны треугольника.

Большим пальцем ноги Джек прошелся вдоль палки, которую недавно грыз один из Райаловых спаниелей. Мальчик тихонько оттолкнул ее в сторону, но так, чтобы она оставалась в пределах досягаемости.

— Нормальные такие прямые отрезки, — сказал он.

— А как насчет углов A, B и C, Джек?

— Нормальные такие…

— Все эти отрезки равной длины. Что в этом случае мы можем сказать относительно углов,

а, Джек?

Джек подумал немного, потом еще немного и еще.

— А вот это, *lenitate,* значит, длинная? — спросил Килдэр. — Очень длинная река, так, что ли?

– *Incredibili lenitate,* с плавностью невероятной.

— У меня уже просто голова раскалывается, — сказал Джек.

На лужайке появилась горничная, Димпна, с чаем и печеньями для Ральфа, второй завтрак. Едва заметив ее, оба мальчика тут же вскочили из-за стола.

— Насчет эдуев и секванов и правда интересно, — вежливо заметил Килдэр, прежде чем рвануть с места вслед за братом.

По вечерам в среду Ральфа всегда спрашивали, куда он ездил сегодня после обеда, и каждый раз, называя очередной исхоженный вдоль и поперек городишко, он чувствовал, что не оправдывает ожиданий. Было ясно, что Райалы ждут от него повторного визита в Лахардан, даже несмотря на то, что никто его туда не приглашал. Он понимал, что для мистера Райала это послужило бы дополнительной гарантией в том, что он и дальше будет заниматься с его сыновьями; миссис же Райал, натура чувствительная, увидела в нем

хоть какую-то компанию для одинокой девушки. Но, ради всего святого, как он мог просто взять и еще раз свернуть на ту же подъездную аллею как ни в чем не бывало, как старый добрый друг? В друзья его никто не приглашал.

Тем не менее однажды в среду Ральф все-таки вернулся к тому месту, где начиналась подъездная аллея, к пустующей сторожке и к спрятанным под буйной летней порослью въездным воротам. Он притормозил, но сворачивать не стал. Вместо этого он поехал дальше и в скором времени нашел место, где можно было съехать прямо на пляж; он искупался и полежал на солнышке. Никто так и не появился ни на галечнике, ни на гладком, утрамбованном приливом песке, на котором даже его собственные следы были едва видны. Проблеск чего-то белого не мелькнул вдалеке, стройная девичья фигурка так и не появилась на скалистом мысе, который уходил в открытое море, прямой, словно вытянутый палец. На обратном пути он еще раз отыскал аллею и сторожку. Он подождал немного, но и здесь никто к нему не вышел.

В другие дни по вечерам Ральф вышагивал по длинной центральной улице Инниселы, останавливаясь, чтобы поглазеть в витрины магазинов;

он проводил время с вывешенными у Мак-Минов кусками мяса, с манекенами в галантерее Домвилла, с овощами и фруктами у О'Хэгана и в «Отечественных и колониальных товарах». Огромные стеклянные реторты с зеленой и красной жидкостью были главной достопримечательностью фармакопеи Вестбери; в зале для аукционов П.К. Гэтчелла громоздилась мебель — столы, кровати и гардеробы, комоды, стулья, письменные столы и картины. На рекламных щитах синема три раза в неделю менялись кадры из фильмов.

Ральф читал «Айриш таймс» и «Корк игземинер» у стойки в «Сентрал-отеле». Он шел мимо приземистого маяка и мимо вокзала, мимо летних пансионатов — «Пасифик», «Атлантик», «Мисс Мид», «Сан-Суси». Он шагал по променаду мимо парочек, которые выгуливали псов, мимо монахинь, священников и «христианских братьев». Девчонки из монастырской школы болтали возле желто-голубой эстрады или сидели на парапете, болтая ногами.

Иногда он проходил мимо армейских казарм на Корк-роуд, за которыми кончался город, и уходил далеко в поля. Иногда исследовал куда менее привлекательные улицы в нижней части

города, где бегали босые дети и женщины в платках просили милостыню, где мужчины на углах играли в пристенок, а из перенаселенных хибар за версту несло нищетой. Был еще маршрут по берегу реки до протестантской церкви, неподалеку от которой гнездились лебеди, собственно, и давшие городу название. Как-то вечером среди могил он повстречал престарелого священника, который тут же протянул ему руку.

— Вы учите банкирских детишек, — сказал он одновременно с этим дружеским жестом. — А я каноник Кросби.

Ральф не привык к такому способу знакомства, но спрятал замешательство улыбкой. Несколько раз он присутствовал на проповедях каноника Кросби, поскольку в его обязанности входило сопровождать своих подопечных в церковь в тех редких случаях, когда ни отец, ни мать не хотели идти к воскресной заутрене.

— Стараюсь в меру сил, — сказал он после того, как назвал в ответ свое имя.

— Да будет вам. Уверен, что все у вас идет как надо, Ральф. Если я не ошибаюсь, сами-то вы из графства Вексфорд?[18]

---

[18] Примечания: 18

Одно из самых неспокойных графств в Ирландии — с точки зрения сопротивления британцам.

— Так точно.

— Когда-то, много лет тому назад, я был викарием в Гори. Что за славное графство, этот ваш Вексфорд!

— Согласен.

— Гордится своим разнообразием.

Ральф улыбнулся еще раз, не уловив смысла последней фразы. Каноник Кросби сказал:

— Мне сообщили, что вам довелось побывать в Лахардане.

— Заехал по нечаянности. Мистер Райал любезно предоставляет мне возможность пользоваться его автомобилем.

— Добрейшей души человек. И женат на добрейшей из смертных. — Каноник Кросби немного помолчал. — А еще, я слышал, вы встречались с Люси Голт.

— Да.

— Что ж, это прекрасно, Ральф, прекрасно! Я так обрадовался, когда узнал об этом вашем визите. И миссис Кросби тоже обрадовалась так, что и передать нельзя. Мы оба были просто на седьмом небе от счастья.

Каноник Кросби то и дело подмигивал, его рука по-дружески опустилась Ральфу на плечо, он восторженно кивал головой, и от всего этого кровь

прилила у Ральфа к лицу, и, едва почувствовав, что краснеет, он стал краснеть все пуще и гуще. Во всем сказанном был какой-то второй смысл, в самом тоне, которым говорил каноник Кросби, в его молчаливом допущении, что Ральфу и хотелось бы кое в чем признаться, но, естественно, делать он этого сейчас не станет.

— Если найдется человек, с которым Люси Голт сможет пообщаться целое лето, так это будет чудо, просто чудо.

— Я и был там всего-то один раз.

— А как бы мы все возрадовались, услышав, что вы заехали туда опять! И как была бы рада — ну, конечно, я в этом совершенно уверен — сама Люси.

— Честно говоря, меня туда еще раз никто не приглашал.

— В наших краях, Ральф, принято приезжать в гости безо всяких там приглашений, просто постучать в дверь, когда найдет такой стих, и все тут. Уверяю вас, Ральф, здешний люд обращает на формальности куда меньше внимания, чем в графстве Вексфорд. Вы, должно быть, знакомы с настоятелем из Фернза?

— Боюсь, что нет.

— Ну вот, а я вам что говорил? Мы здесь народ

простой. И ко всяческим церемониям относимся довольно просто. И в человеческих отношениях, — добавил каноник Кросби с внезапной суровой ноткой в голосе, — чопорности у нас места нет. Категорически.

— По правде сказать, — начал Ральф, — я не…

— Мальчик мой, ну конечно. Как я вас понимаю. И миссис Кросби тоже. Вам, случаем, не доводилось встречаться с мистером Салливаном?

— Салливаном?

— Из юридической конторы «Салливан и Педлоу»? Юридические и нотариальные услуги?

Ральф покачал головой.

— Мистер Салливан уже весь мир обыскал, пытаясь найти капитана Голта и его жену. А в их отсутствие он за всем присматривает. Присматривает за Люси Голт. В свое личное время, вне какой бы то ни было связи с официальными обязательствами, он взял на себя заботу, — заботу, Ральф, о том, чтобы Люси Голт было на что жить и чтобы жила она по возможности хорошо, заботу о ремонте и содержании этого старого дома, который уже давно похож скорее на казарму, чем на дом. Сделать, конечно, удается очень немногое, поскольку денег на это просто нет. Голты никогда особо не заботились о своем благосостоянии, из

поколения в поколение: вы можете судить об этом по тем нескольким полям и небольшому стаду, которые у них остались. Но все это время Лахардан приносил пусть скромную, но все же прибыль, и удавалось это исключительно благодаря стараниям мистера Салливана. Я недавно сказал мистеру Салливану — нарочно остановил его на улице, чтобы это сказать, — что он хороший человек. А в ответ услышал, что ему не раз приходилось обедать в Лахардане, что не раз и не два — в те времена, когда там жил капитан и даже еще того раньше, — он оставался там ночевать, если ехать домой затемно уже не имело смысла. И всю свою глубокую человечность, Ральф, он склонен оправдывать всего лишь благодарностью за оказанное когда-то гостеприимство.

Ральф кивнул. Кожа на лице успела вернуть свой естественный цвет. Ему хотелось поскорее закончить этот разговор, но он не знал, как это сделать.

— А тут до ушей мистера Салливана, а затем и до моих доходит слух о том, что вы побывали в Лахардане. И мистер Салливан был положительно в восторге от этой новости, Ральф, так же как и мы с миссис Кросби. Мы даже вознесли благодарственную молитву. Самую искреннюю

благодарственную молитву.

— Я тогда просто ошибся дорогой, не понял, что это подъездная аллея к дому.

— Ошибитесь дорогой еще раз, Ральф. Я вас умоляю, ошибитесь еще раз. Я умоляю вас составить компанию девушке, которой так недостает общения со сверстниками. Я вас умоляю не оставлять на полдороге начатого дела. Я самым искренним образом вас об этом прошу. Съездите еще раз в сей одинокий дом, Ральф.

Выдав этот многословный и велеречивый пассаж, каноник Кросби протянул Ральфу руку и пошел своей дорогой.

* * *

Когда пришла наконец весточка от Люси Голт, написана она была почерком до странного безукоризненным, где каждая черта и петелька, каждый росчерк и соединительная планка были на своем единственно верном месте. Это имя, которое Ральф лелеял про себя столь нежно и тайно, было выведено с тем же четким наклоном, что и прочие слова в письме. Вся поэзия мира была бы не в силах вместить той силы, с которой звучало скрытое в этом имени «да»; на сей счет Ральф был уверен. Вся поэзия мира не смогла бы отразить и

капли той радости, с которой он вел свой обычный урок под густолистными ветвями бука.

— Давайте-ка мы сегодня просто почитаем, — улыбчиво сказал он утром того дня, когда пришло письмо, и стал читать вслух из «Дневника господина Никто»[19], пока Килдэр дремал, а Джек рисовал гаргулий.

Когда настало время чая и мальчики умчались по своим делам, письмо можно было снова достать, с роскошной неспешностью вынуть его из кармана, не торопясь развернуть, любуясь крапчатой тенью листвы на белой бумаге и синих линиях строк. Конверт лежал отдельно; теперь его тоже можно было изучить. Мольбы каноника Кросби, невысказанные пожелания Райалов больше не вступали в противоречие со свойственным Ральфу застенчивым упрямством. И в эти первые несколько часов, когда все вдруг переменилось, для счастья было довольно одной только возможности смотреть на эти несколько коротких фраз и на то, как она пишет собственное имя.

---

[19] Примечания: 19

Поздневикторианский юмористический роман братьев Джорджа и Видона Гроссмитов, формально представляющий собой дневник клерка Чарлза Путера, графомана и сноба, то и дело попадающего в различные нелепые ситуации.

Прежде чем уехать навсегда, загляните попрощаться. Приезжайте к чаю. Конечно, если вам того хочется. Люси Голт.

И больше ничего, только адрес и дата под ним: *15 августа 1936 года.*

5

В тот самый день, когда в квартиру над «Банком Ирландии» пришло письмо от Люси Голт, в армейском лагере, мимо которого во время вечерних прогулок часто проходил Ральф, появился новобранец. Перед дежурным офицером предстал высокий темноглазый человек с худым лицом и напряженностью во взгляде, которая как-то особенно обращала на себя внимание. У офицера сложилось ощущение, что этот человек чем-то серьезно встревожен, но поскольку медики признали его годным, поскольку он прошел обычное в таких случаях собеседование и был сочтен достойным носить военную форму, офицер поставил штемпель на документах, удостоверяющих его имя, возраст и положенный срок службы. В напечатанную на машинке анкету вкралась ошибка, фамилию написали неправильно, новобранец указал на это офицеру, тот дважды перечеркнул ошибочный вариант и написал правильный: *Хорахан.*

Затем на плац-параде этот новобранец как-то сразу оказался в одиночестве. Он огляделся вокруг: казармы, уборные, площадка для гандбола

за высокой стеной, в углу отдыхают солдаты. Он пошел в армию в надежде, что военная дисциплина и шумный армейский коллективизм, боль в натруженных на марше ногах и здоровая усталость скорее исцелят его недуг, нежели одинокое по самой своей природе ремесло маляра или образ жизни станционного рабочего. Когда он сказал об этом матери, с которой жил до сих пор, она заплакала. Она уже успела привыкнуть к переменам, которые произошли с ним еще в те времена, когда он работал на вокзале. Несмотря на эти перемены — а может быть, даже и благодаря им, — он был хорошим сыном: аккуратный, опрятный, и с каждым годом все опрятнее и аккуратней. Когда ему ни с того ни с сего вдруг взбрело в голову пойти в армию, для нее это был такой удар, которого, наверное, она за всю жизнь не испытывала. Она боялась опасностей, которые постоянно подстерегают военного человека, и ей казалось, что ее сын к ним совсем не готов.

На плац-параде новобранец спросил у стоявших там солдат, как ему пройти к часовне. Они все курили, двигались эдак с ленцой, и у них у всех были расстегнуты верхние пуговицы на кителях. Они решили подшутить над новичком, в Лагере так встречали любого незнакомого чело-

века, и отправили его не в ту сторону, так что, в конце концов, он оказался возле наполовину заполненной отбросами выгребной ямы. Над ямой роились мухи; между костями и консервными банками рылась черно-белая дворняга. Новобранец огляделся вокруг. Он был на самом краю Лагеря, возле забора из сетки-рабицы на металлических опорах; он повернулся и пошел той же дорогой обратно. Дорогу он больше спрашивать не стал, а сориентировался сам, издалека углядев черный деревянный крест на крыше часовни.

Внутри было пусто, и в косых лучах солнечного света покрытые лаком скамьи выглядели неестественно яркими. Солдат обмакнул кончики пальцев в чашу со святой водой, обернулся к алтарю и перекрестился — той же рукой. Потом он отыскал то, зачем пришел, гипсовую статую Девы Марии, перед которой горела одинокая свеча. Он подошел, встал на колени и стал молиться, чтобы за службу родине она вознаградила его душевным покоем, чтобы сны, которые изводили и мучили его по ночам, а потом целый день не давали о себе забыть, прекратились. Он просил у Богородицы заступничества, обещал смиренно исполнять ее волю и умолял ниспослать ему знак, что его молитва услышана. Но когда он закончил

молитву, в часовне было тихо, как и во всех других местах, где ему доводилось молиться.

— Что-что? — переспросил его в тот же день другой солдат; новобранец знал, что действительно только что произнес какую-то фразу, но признаваться в этом не стал.

— Слушай, ты же только что меня о чем-то спросил.

— Я спросил, долго ли от новых штанов чешутся ноги.

— Нет, ты не об этом спросил.

Он знал, что не об этом, но та фраза уже ушла, затерялась, и отыскать ее смысл было теперь невозможно, потому что он сам не знал, что это был за смысл. Совсем недавно он красил оконные рамы в большом, из старого выкрошенного кирпича сумасшедшем доме и вдоволь насмотрелся на психов. Теперь его постоянно преследовал страх, что рано или поздно он тоже окажется среди них, по ту сторону стекла.

6

Когда вдалеке послышался звук мотора, во дворе залаяли собаки. Сорвавшись со своего обычного места на теплых камушках под грушей, они вприпрыжку вылетели было к воротам, но Хенри, который знал, что сегодня днем приедет гость, и знал, что это будет за гость, мигом отправил их обратно. Он стоял в арке, сбоку от фасада, и смотрел, как они, повинуясь его жесту, плетутся назад, а потом повернулся и прислонился к стене, в том же месте, где стоял в прошлый раз, когда впервые увидел здесь эту машину. И так же, как и в прошлый раз, стал нащупывать в кармане сигареты.

Узнав от Бриджит, что давешний парень собирается приехать еще раз, Хенри не сказал ни слова. На его лишенном всякого выражения лице не дрогнул ни единый мускул; впрочем, отсутствие реакции с его стороны не показалось Бриджит чем-то из ряда вон выходящим, поскольку он вообще часто никак не реагировал на разного рода новости. Иногда за этим молчанием крылось желание все как следует обдумать, иногда — нежелание говорить то, что лучше

оставить при себе. Когда была оглашена новость о скором возвращении Ральфа, причина у молчания была вторая.

Ральф помахал ему из машины, и он поднял в ответ левую руку, правой затолкав в карман брюк спички и пачку «Вудбайна». IF-19, отметил он для себя, та же машина, что и в прошлый раз. Большой старый «рено».

В одно из прошлых воскресений, после мессы в Килоране, Хенри навел об этом автомобиле справки. Он поговорил с человеком, который работал на дорогах, и тот сказал, что машина принадлежит мистеру Райалу и что раз в неделю мистер Райал ездит на ней из Иниселы в Дунгарван, в тамошнее дочернее отделение «Банка Ирландии». Почему на ней катается этот парень, по всем признакам явно не здешний, дорожник не знал. Судя по тому, что в прошлый раз удалось подслушать Бриджит, ей показалось, что он учитель, но концы с концами все равно пока не сходились.

— Тут он, приехал, — сказал Хенри, зайдя на кухню, и по реакции жены понял, что она довольна этим обстоятельством примерно в той же мере, в какой ему самому это не нравится.

— Кстати, теперь понятно, в чем все дело: он

учит Райаловых детишек, — сказала Бриджит. — Она мне сегодня утром сказала. И живет у них же, в банке.

— Значит, со дня на день уедет обратно, откуда он там взялся.

— Вот поэтому она ему и написала письмо, чтобы заглянул попрощаться перед отъездом.

— А он не теряется.

— И вообще парнишка славный.

— Вот уж не знаю.

Бриджит поняла, что палку перегибать не стоит. И переменила тему:

— Она опять принесла к чаю соты.

— Пойду выставлю наружу стол.

Молодой человек стоял и ждал, облокотившись на машину, пока Хенри нес через усыпанную гравием подъездную площадку складной стол. Как и в прошлый раз, он разложил стол на гортензиевой лужайке и пододвинул к нему те же самые два крашеных белой краской стула. На обратном пути он прошел мимо гостя и задал вопрос:

— Вы из Англии, сэр?

— Я живу неподалеку от Иннискроти. А в Англии вообще ни разу в жизни не был.

— И то верно, чего вы там забыли? — Хенри, хоть и через силу, но все-таки кивнул, а потом

едва заметно кивнул головой на автомобиль мистера Райала. — Как вам машина, не старовата?

— Я не слишком быстро езжу.

— Тут всего-то что пара царапин на крыльях, и больше ничего. Это я еще в прошлый раз заметил. За ней хорошо ухаживают.

— Ага.

— Приятно посмотреть на вещь, за которой хорошо ухаживают. Я вот тоже стараюсь, чтобы таратайка была в полном порядке. А пару лет назад выкрасил старую тележку, только она все равно еле дышит.

Специально для него был откинут верх, чтобы он мог взглянуть на обтянутое зеленым сукном сиденье. Потом отстегнули и сложили капот, чтобы он мог осмотреть мотор. Хенри восторженно покачал головой. Эта машина, должно быть, уйму денег стоила, сказал он.

— Она не моя, она мистера Райала.

— Мне так и сказали, что вы у него остановились. А вот вам и наша мисси.

Хенри медленно пошел прочь. Теперь, после разговора о машине, на душе у него стало немного легче. Он слышал за спиной начало разговора, фразы скомканные и нервозные. Парнишка извинился, что приехал слишком рано, а она сказала,

что это не важно.

* * *

— Я подумала, а вдруг вы уже уехали, — сказала Люси. — Я подумала, а вдруг мое письмо до вас не дошло.

— Я останусь в Инниселе еще на несколько недель.

— Я так обрадовалась, когда получила от вас письмо.

Приеду в среду, написал ей Ральф, второпях, чтобы поспеть к вечерней почте. С тех пор прошло шесть дней, и каждый день он пытался представить себе, как все будет на этот раз. Покуда Цезаревы «Записки о Галльской войне» с трудом продвигались вперед, покуда Джек страдал над геометрией, Ральф думал о том, улыбнется ли она точь-в-точь как в первый раз, а еще решил, что пауз в разговоре допускать никак нельзя. Расскажет ли она ему на этот раз о том, о чем ему уже успели рассказать с момента их встречи другие люди? Не скучно ли ей будет слушать про его собственную жизнь? О друзьях, которыми он обзавелся в частной школе? О лесопилке и о складах готовой продукции, которые он в один прекрасный день получит по наследству? Будет

ли ей хоть что-нибудь из этого интересно так же, как его интересовало все, что связано с ней?

— Я развожу пчел, — сказала она. — Я раньше вам об этом говорила?

— Нет, не говорили.

— Я даже имени своего вам не сказала. Впрочем, теперь вы его и сами знаете.

— Да, знаю.

— Вы, должно быть, уже наслышаны о Голтах?

— Да нет, не слишком.

Естественно, ни о каких пересудах он и слыхом не слыхивал. И все же ему очень хотелось сказать, что все ходившие по Инниселе истории ничуть не убавили в нем теплого чувства к ней, а как раз наоборот, сделали его сильнее. Однако сказать ей этого он все равно не мог, потому что она ничего не знала о его чувствах. Он даже не мог сказать ей о том, что сам недавно был ребенком и потому вполне способен, хотя бы отчасти, хотя бы со стороны, понять ее детские чувства, когда ей пришлось раз и навсегда отказаться от всего самого близкого и родного да еще и смириться с потерей. Он вдруг совершенно отчетливо представил себе ее тогдашнюю и вспомнил свое собственное чувство полной беспомощности по приезде в частную школу, про которую ему говорили, что

там ему будет хорошо, вспомнил мокрую от слез подушку, вспомнил, как далекий родной дом казался ему раем, откуда его изгнали за то, что он его недостаточно сильно любил. Сколь нежными казались ему в зловещей тьме школьного дормитория мамины руки («спокойной ночи, сынок»), какой небесной музыкой звучали отцовские пилорамы, как празднично горел в спальне камин, какие мягкие ковры лежали дома на лестнице! И ад, который в одночасье смел его детское счастье, открылся перед ним далеко не во всем своем ужасном обличье: из обрывков чужих разговоров складывалась устрашающая картина лишений, наказаний, холода и всяких других неудобств во всех возможных сочетаниях; и изо дня в день по утрам будет все та же горелая каша; изо дня в день все тот же запах капустного супа.

Они по-прежнему стояли у машины; пауза затянулась, и Ральфу очень хотелось сказать, что ему тоже знакомы безысходные детские горести, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что его собственный опыт не может идти ни в какое сравнение с прошлой и нынешней жизнью этой девушки, которую, как ему казалось, он любит. Это сочувствие было частью его любви к ней, самой трогательной и нежной ее частью.

— Хотите взглянуть на ульи?

На ней сегодня было другое платье, тоже белое, но рукава доходили только до локтя, и воротничок тоже был другой. На шее были бусы из крохотных жемчужин или из чего-то похожего на жемчуг.

— Да, конечно, — сказал он, и они вдвоем прошли под аркой во двор, а оттуда в сад. Одна из овчарок потрусила вслед за ними, другая по-прежнему осталась лежать в тени под грушевым деревом.

— Батская красавица… — Она принялась перечислять сорта яблок; еще незрелые, они висели в сплетениях старых перекрученных сучьев. — Пипин Керри. Джордж Кейв.

Она указала ему издалека на рядок ульев, но ближе подходить не велела.

— Прекрасный сад, — сказал он.

— Да.

За садом начинался заброшенный огород; они шли мимо пришедших в негодность теплиц и зарослей одичавшей малины. Потом вышли по другую сторону дома, где начиналась ограда ближнего поля.

— Пойдемте прогуляемся?

Как только она произнесла эту фразу, Ральф

поймал себя на том, что про себя назвал ее Люси, в первый раз в ее присутствии. Он вдруг явственно увидел перед собой два слова, *Люси Голт*, ее почерком, как в письме. Никакое другое имя ей бы не подошло.

— С удовольствием.

Они прошли через поле, потом еще через одно, потом краем третьего, где рос картофель.

— Это О'Рейлево, — сказала она.

Она пошла впереди, показывая дорогу вниз по крутому склону, потом через галечник, туда, где по гладкому влажному песку с хозяйским видом выхаживали чайки. Прилив оставил после себя длинные гирлянды водорослей. Из песка там и сям торчали раковины. Она сказала:

— Вот вы идете и думаете: «А девушка-то хромая!»

— И в мыслях не было.

— Вы, конечно, сразу заметили.

— Да что тут, собственно, замечать?..

— Все замечают.

А он бы сказал, что хромота ей идет. Он знал, почему она хромает. Он сказал миссис Райал, когда та его об этом спросила, что ничего в этом некрасивого нет. Он бы и сейчас сказал то же самое, но постеснялся.

— Это Килоран. — Она указала на пристань вдалеке и на дома за пристанью, и ее вытянутый в струнку палец был таким тонким и хрупким, что Ральфа охватило почти неодолимое желание перехватить ее руку и сплестись пальцами.

— Кажется, я туда как-то раз заезжал.

— А я ходила в Килоране в школу. У нашей церкви железная крыша.

— Кажется, я ее видел.

— Я никогда не езжу в Иннисселу.

— Вам не нравится Иннисела?

— Просто незачем туда ездить.

— Я думал, может, встречу вас на улице, но так и не встретил.

— А чем вы занимаетесь в Иннисселе? А дом, в котором вы живете, он какой?

Он описал квартиру над банком. Он рассказал, как ходит по городу, когда у него по вечерам есть время, как — довольно часто — садится почитать на летней эстраде или в пустом баре «Сентрал-отеля» или мерит шагами променад.

— Если я приглашу вас приехать к чаю еще раз, вы не откажетесь? Вам тут не скучно?

— Что вы такое говорите, конечно же, не откажусь. И ничуть мне здесь не скучно.

— А почему «конечно», Ральф?

Она в первый раз назвала его Ральфом. Ему хотелось, чтобы она сделала это снова. Ему хотелось навсегда остаться на этом пляже, потому что они были здесь одни.

— Потому что я знаю, о чем говорю. Какая уж тут скука. Я так радовался, когда от вас пришло письмо.

— А несколько недель, которые у вас остались, — это сколько?

— Три, потом мальчики пойдут в школу.

— А какие они, эти мальчики?

— Нормальные такие ребята. Проблема в том, что учитель из меня так себе.

— Тогда кто же вы на самом деле?

— Да, в общем-то, никто.

— Да нет же, вы меня обманываете!

— У моего отца лесопилка. В конце концов, она перейдет ко мне. Ну, по крайней мере, все к тому идет.

— А вам это не нравится?

— Какого-то другого призвания я в себе не чувствую. Я уже пробовал чего-то захотеть, чего только не пробовал.

— Кем вы пробовали стать? Актером?

— Боже мой, да я играть-то не способен!

— Почему?

— Ну, просто слеплен из другого теста.

— Но попробовать-то можно.

— Да нет, не думаю, что вышел бы какой-то толк.

— А я бы все перепробовала. И сцену тоже. И жениться на богатой. Как их зовут, этих мальчиков, которых вы учите?

— Килдэр и Джек.

— Смешно. Килдэр. Какое странное имя!

— Ну, наверное, такая у них семейная традиция.

— Были такие графы Килдэр. И графство тоже есть такое.

— И город.

— А у меня есть дядя в Индии. Дядя Джек. Брат моего отца. Только я его не помню. А знаете, сколько в Лахардане книг?

— Не знаю.

— Четыре тысячи двадцать семь. Некоторые из них такие старые, что просто рассыпаются в руках. А другие совсем ни разу никто не открывал. Знаете, сколько я из них прочла? Угадайте.

Ральф покачал головой.

— Пятьсот двенадцать. Вчера вечером как раз закончила «Ярмарку тщеславия», по второму разу.

— А я даже и один-то раз ее не прочел.

— Сильная книга.

— Как-нибудь непременно прочту.

— У меня столько лет ушло на все эти книги. Школу закончила и засела.

— Я по сравнению с вами, считай, что вообще ничего не читал.

— Иногда сюда вымывает медуз. Бедняжки, они такие маленькие, но если попробуешь взять ее в руки, она жжется.

Они побродили между мелководными лагунами в скальной породе, где было полным-полно анемонов и креветок. Увязавшаяся за ними овчарка трогала кучки водорослей лапой.

— Вам не кажется странным, что я считала книги?

— Да нет, ничуть.

Он представил себе, как она их считала, пробегая пальчиком от корешка к корешку и всякий раз начиная заново, полкой ниже. В прошлый раз в дом его не пригласили. Интересно, удастся ли ему сегодня увидеть ее комнаты; он загадал, что удастся.

— Сама не знаю, зачем я их считала, — сказала она и добавила, когда пауза затянулась: — Нам, наверное, пора поворачивать к дому. Может,

после чая еще куда-нибудь сходим?

* * *

Зря она сказала про книжки. И ведь не хотела говорить. Она хотела всего лишь ввернуть в разговор «Ярмарку тщеславия», может быть, упомянуть особо имя автора, Уильям Мейкпис Теккерей, потому что Мейкпис — имя такое же необычное, как Килдэр, а еще ей нравился в этом имени ритм. Чушь какая-то, нелепость, пересчитывать четыре тысячи двадцать семь книг. И все-таки, когда она его спросила, не кажется ли это странным, он очень решительно покачал головой.

Она разрезала испеченный Бриджит бисквит, думая о том, что, наверное, зря не купила швейцарский рулет от Скриббинса, их иногда продают в Килоране. Бисквит вышел какой-то непропеченный, и нож не проходил сквозь него легко, так, как положено. Выпечка у Бриджит вообще не самое сильное место, чего не скажешь о хлебе.

— Спасибо, — сказал он и взял предложенный ему кусок.

— Он, должно быть, не очень удачный получился.

— Просто великолепный!

Она налила ему чаю, добавила молока, а потом налила себе. О чем она станет говорить, когда опять повиснет пауза? Утром она специально придумывала вопросы, которые можно будет ему задать, но к настоящему моменту те вопросы кончились.

— Вы рады, что приехали в Иннисселу, а, Ральф?

— Да, конечно. Конечно, рад.

— А вы и в самом деле плохой учитель?

— Ну, по крайней мере, маленьких Райалов я многому не научил.

— Может, они просто не хотят учиться?

— Не хотят. Ни вот столечко.

— Тогда это не ваша вина.

— Но и у меня совесть тоже не совсем чиста.

— Вот и у меня тоже.

И этого тоже ей не следовало говорить. Она же решила ни словом не обмолвиться о своей нечистой совести. Стороннему человеку это совсем не интересно, да и объяснять пришлось бы слишком многое.

— Я бы не смогла заниматься с мальчиками, — сказала она.

— А может, и смогли бы. Не хуже, чем я.

— Я помню мистера Райала. Такой, с усиками.

— Райалы очень добры ко мне.

— А еще помню одного человека у Домвилла. Жилистый такой человек, очень высокий и очень туго подвязывает галстуком воротничок. Вертится на языке фамилия, а вспомнить никак не могу.

— А я ни разу даже не был у Домвилла.

— Там над головой игрушечная железная дорога, а сдачу приносят в полых деревянных шарах. А знаете, почему я ношу белые платья?

— Ну…

— Потому что это мой любимый цвет. И мамин тоже.

– *Белый* — ваш любимый цвет?

— Ага. — Она предложила ему еще бисквита, но он покачал головой.

Надо было ей купить рулет от Скриббинса, нарезать ломтиками и самой разложить на тарелке, шоколадный рулет с ванильной начинкой или просто с джемом, если других не окажется.

— Расскажите мне, какая она, Иннисела? — сказала она.

Так появилась новая тема для разговора: монастырь на холме, кинотеатр, длинная главная улица, маленький маяк. А потом она узнала, что и Ральф, оказывается, тоже единственный ребе-

нок в семье. Последовало описание отцовской лесопилки, затем родительского дома, невдалеке от лесопилки, у моста.

— Может, сходим еще, прогуляемся к ручью? — спросила она, когда чай был выпит. — Как в тот раз? Не будет скучно?

— Нет, конечно. — А чуть погодя он сказал: — Совсем почти и не заметно, что вы хромаете. Даже ни капельки.

— Вы приедете в следующую среду?

7

На широкой пьяцца в Читта-Альта играл духовой оркестр, наружные столики в единственном на пьяцца *ristorante* укрылись под полосатым бело-зеленым навесом. *Il Duce*[20] приехал, *Il Duce* был на пути сюда; сперва возникло замешательство, а потом внизу, на виа Гарибальди и на пьяцца делла Репубблика, раздались приветственные возгласы: *Il Duce* прибыл.

– *«Tosca»,* — сказал капитан, но музыка из оперы тотчас же умолкла.

Дирижер взмахнул рукой, разом охватив всю пьяцца, дав команду молчать, хотя большая часть площади была пуста. Послышались первые такты песни.

— Ecco,[21] — пробормотал медлительный старый официант словно во сне.

— Bene, bene[22]... — шепнул он, разливая остат-

---

[20] Примечания: 20
Дуче (итал.).

[21] Примечания: 21
Ну вот (итал.).

[22] Примечания: 22
Ладно, ладно; ну-ну (итал.).

ки «бароло».

Внизу, в новом городе, играла та же мелодия, усиленная репродуктором так, чтобы каждый, где бы он ни находился, знал, что *Il Duce* наконец-то приехал.

Хелоиз не сказала ни слова с тех пор, как их провели к столику под тентом — пока им подавали заказанный ланч, пока ковырялась в тарелках, едва попробовав от каждого блюда. Дурной нынче выдался день, сказал себе капитан. Ноющая боль, квинтэссенция горя, тяжким грузом залегшего в самых глубинах ее души, поднялась к поверхности и тлела теперь у нее в глазах, как обычно, когда наступал дурной день. Она попыталась улыбнуться в ответ на его улыбку, но не смогла, и он совершенно отчетливо увидел то, что стояло сейчас у нее перед глазами: как волны тешатся с телом ее дочери, а та даже и не думает сопротивляться, потому что сама так решила. В дурные дни интуиция у него становилась необычайно острой; он все чувствовал, все знал. Он пытался вложить всю свою волю, все нежелание уступить безысходному чувству страха в легкое пожатие пальцев, но она не откликнулась, в ее руке, за которой он минуту назад потянулся и которую до сих пор держал в собственных своих руках,

не было ни капли жизни, ни малейшего признака того, что ему и на этот раз удалось развеять тьму, встать на пути полного и беспросветного отчаяния.

Через пьяцца пробежал желтый пес, единственная живая душа, за исключением оркестрантов, официанта и посетителей единственного уличного ресторанчика. Официант ослабил галстук-бабочку. Пес, тощий и, судя по всему, подыхающий от голода, опрокинул мусорный бачок и принялся рыться в отбросах. Оркестранты были всего лишь любителями, которые по воскресеньям лениво наигрывают свои оперные арии, но одетый в белое дирижер вдруг ударился в приступ раздражения по поводу того, что играют они недостаточно воодушевленно — как будто все они уже успели пройти победным маршем по завоеванным городам и весям.

– *Va'via! Va'via!*[23] — прикрикнул на пса старик официант. — *Caffe, signore?*[24]

– *Si, per favore.*[25]

---

[23] Примечания: 23
Кыш; иди отсюда (итал.).

[24] Примечания: 24
Кофе, синьор? (итал.).

[25] Примечания: 25
Да, пожалуйста (итал.).

Он любил ее, больше, чем кого-либо другого за всю свою жизнь, но сегодня, как то уже не раз бывало, она сама загнала себя в такой угол, в котором даже он был не в состоянии ей помочь. Сколько времени осталось до той поры, когда Италия перестанет быть подходящей страной для таких, как мы? Она задала ему этот вопрос тоном спокойным и рассудительным.

Он покачал головой. Где-то неподалеку снова раздались приветственные клики, и сразу после них — голос, усиленный громкоговорителями, возбужденный, срывающийся на крик, размеченный, как пунктиром, странным чавкающим звуком: должно быть, оратор время от времени ударял кулаком о ладонь. *Morte! Sangue! Vittoria! Vittorioso!*[26] Одни и те же призывы повторялись из раза в раз, тоже похожие на пунктир. На той стороне площади желтый пес вычесывал блох.

— Н-да, похоже, что Италия скоро доберется и до нас, — сказал он и еще раз подумал о том, как сильно он ее любит.

Они лежали друг у друга в объятиях, они говорили, она читала ему из книг особенно понравившиеся места, они вместе объехали бог

---

[26] Примечания: 26
Смерть! Кровь! Победа! Победоносный! (итал.)

знает сколько разных мест; но все-таки в такие дни, как этот, достучаться до нее он не мог.

— Пожалуйста, только не проси меня вернуться в Ирландию, — прошептала она, тоном таким мягким и настолько лишенным всякого выражения, что как будто бы и вовсе ничего не говорила.

8

После того как Ральф успел дважды побывать в Лахардане по средам во второй половине дня, после того как он успел осмотреть дом, походить по комнатам, внимательно изучить корешки книг в нескольких книжных шкафах, багатель в углу гостиной и бильярдный стол на верхней лестничной площадке, Люси сказала:

— Может быть, вы задержитесь ненадолго после того, как закончите работать с мальчиками?

— Здесь?

— А что, вам кажется, что у нас не хватит места?

Преподавать он закончил в первой неделе сентября, под выходные. Вечером накануне того дня, когда мальчикам нужно было возвращаться в школу, мистер Райал выплатил ему все, что причиталось, а потом, покуда Ральф прощался с миссис Райал и с мальчиками, лично перенес оба Ральфовых чемодана из дома в машину. По дороге в Лахардан мистер Райал сказал:

— Все-таки здорово, что вы с ней подружились.

— Знаете, дружба в данном случае не совсем точное слово.

— Н-да…

А в Лахардане мистер Райал сказал:

— Я тебя не видел с тех пор, как ты была совсем малышкой, Люси, лет восьми или девяти.

Она улыбнулась, но так и не сказала, помнит ли сама об этом случае, а когда машина уехала, она повела Ральфа вверх по широкой лестнице, в комнату, где теперь он станет жить. Она была квадратной формы и очень просторная, с умывальником из красного дерева в углу, с гардеробом и комодом, с белым пледом на кровати и с оправленными в темные рамы гравюрами на всех четырех стенах: виды Гленгар-риффа. Окна выходили на море, поверх поля, где паслись коровы.

— Если вы попробуете открыть вот эту дверь, — предупредила Люси, — она не откроется.

Бриджит по случаю гостей снова привела гостиную в жилой вид, проветрила ее, надраила длинный обеденный стол и покрыла его скатертью, которую много лет тому назад сложила и упрятала подальше. Она была страшно возбуждена, бегала туда-сюда по дому с посудой и подносами, щеки у нее раскраснелись, и каждый день на ней был хрустящий накрахмаленный передник.

— Бриджит нравится вся эта суета, — сказала Люси, а Ральф сказал, что он это заметил.

Он просто обожал сидеть с ней за обеденным столом. Как только за Бриджит закрывалась дверь столовой, он начинал представлять себе, что именно так все и будет, если они поженятся. В Лахардане ему нравилось все: сам дом, то, как он расположен, нравилось спускаться рано утром на пляж и нравилось, когда ему время от времени показывали в саду деревья с вырезанными на них буквами Л и Г. Ему нравилось лежать с ней рядом на траве возле ручья и нравилось переходить через ручей по специально выложенным камушкам. Ему нравилось все, что нравилось ей, как если бы иначе даже и быть не могло.

— Я вам еще кое-что покажу, — сказала она и привела его к развалинам дома в самой чаще леса, в лощине. — Хенри расскажет вам про Падди Линдона.

Ральфу не нужно было объяснять, что именно сюда она когда-то в детстве доползла со сломанной ногой, и он представил, как она тогда должна была себя чувствовать: страх, голод и одиночество. Ему хотелось спросить ее об этом, но он не мог, потому что сама она никогда этой темы не касалась, вот разве только в связи с хромотой. На

пляже она рассказывала о безымянном псе, который в конечном счете так-таки и сбежал куда-то, но ни словом не обмолвилась о той роли, которую этот пес сыграл в ее собственной истории. Листая в гостиной фотоальбом, он видел сквозь коричневатую дымку пару с детской коляской под яблонями в саду. На этой фотографии он задерживался много дольше, чем на всех прочих, и рассматривал ее так и эдак, но комментариев от Люси так и не дождался.

Однажды в лесу она вдруг сказала:

— Нам пора возвращаться, — как будто почувствовала, как он отчаянно ждет ту фразу, которую она могла бы сейчас произнести, как будто и сама этого испугалась.

Но чувство ожидания, раз возникнув, никуда не ушло, и Ральф начал думать о том, обернется ли оно когда-нибудь чем-то большим, нежели ожидание, хватит ли у него, в конце концов, смелости обнять ее, дотронуться губами до ее гладких светлых волос, а потом до шеи, до щеки, до веснушчатой кожи на тыльной стороне руки, до лба и закрытых глаз, до губ. И не получится ли так, что все его желания так навсегда желаниями и останутся.

— Вы не должны уезжать из Лахардана, —

сказала она, — пока не дочитаете «Ярмарку тщеславия».

— Так я еще даже и не начал.

— А когда закончите читать, мы с вами обязательно о ней поговорим. И на это тоже понадобится время.

Иногда на ходу они касались друг друга тыльными сторонами ладоней, а на переправе через ручей руки сами искали и находили друг друга. А еще был неудобный перелаз через каменную стену, и опять ощущение близости.

— Там шестьсот сорок две страницы, — сказала она.

* * *

Они бы ни за что не встретились, не перепутай Ральф дорогу: Люси пыталась об этом думать, о том, что они бы не нашли друг друга, что она бы не знала, что на свете есть Ральф. Ей казалось, что он возник из ниоткуда, и ей приходило в голову: а что, если, уехав из Лахардана, он снова канет в никуда и больше не вернется. Она никогда его не забудет. Всю жизнь она будет помнить эти послеобеденные среды и нынешнее время тоже. А когда она станет старой и ей начнет казаться, что Ральф — всего лишь вымысел, фикция, и все

это лето — такая же фикция, то это будет не важно, потому что время все равно рано или поздно превращает память в фикцию.

— Ральф, а чего бы вы сейчас хотели больше всего на свете?

Он нагнулся, подобрал с песка голыш и запустил его в море. Камушек дважды отскочил от воды, потом еще раз, третий й наконец пропал. Он уже не так скованно чувствует себя с ней, подумала она, потому что теперь знает ее немного лучше или, по крайней мере, ему так кажется. Ей нравилась его застенчивость и то, какой он милый.

— Ну, знаете, наверное, просто ничего не делать изо дня в день, и все.

— Ну, этого у меня как раз более чем достаточно.

— Значит, вы счастливый человек.

— Мне будет вас не хватать, когда вы уедете. Навряд ли вы сюда вернетесь.

— Ну, если меня пригласят…

— У вас будет чем заняться.

— И чем же этаким я буду занят?

— Ну, если хорошенько подумать, выбор у вас практически бесконечный.

Они искупались, что случалось обычно два раза

в день, а потом пошли в Килоран. К пристани пришлось карабкаться через камни. Там было пусто, и на единственной в деревне улице — тоже. Люси сказала:

— Вот здесь я и ходила в школу.

Они заглянули сначала в одно окошко, потом в другое. Глянцевые карты и памятки по-прежнему висели на стенах вперемешку с портретами королей и королев работы мистера Эйлворда: Вильгельм Завоеватель, королева Мейв и император Константин. На доске было написано: *Пусть x = 6.*

— Я люблю вас, Люси, — сказал Ральф. — Я вас люблю.

Она ничего не ответила. Потом посмотрела в сторону и еще через секунду сказала:

— Да, я знаю. — И опять запнулась. — Только ничего хорошего из этого не выйдет, из нашей с вами любви.

— Почему?

— Меня нельзя любить.

— Да нет же, Люси, можно! Если бы вы только знали, как вас можно полюбить!

Они говорили на ходу, не остановились и теперь. Шли они медленно, и когда Ральф еще раз взял ее за руку, Люси не стала ему противиться.

Он сказал:

— Я влюбился в вас сразу, как только увидел, в самый первый раз. И с каждой минутой любил все сильней и сильней. Вы — первая любовь в моей жизни. И последняя. Я больше никого не смогу полюбить.

— Вы ведь еще не закончили «Ярмарку тщеславия». И мы о ней не поговорили. Надо обязательно поговорить, пока вы не уехали.

— Да не хочу я никуда уезжать. Я хочу остаться с вами, на всю жизнь.

* * *

Когда Люси покачала головой, Ральф понял, что это не относится к тому, что он сейчас сказал, что она никоим образом не ставит под сомнение ту страсть, которая жила в его голосе и в его глазах. Она качала головой, отказываясь принять его по-детски необузданную и не желающую считаться с обстоятельствами надежду; ничего такого просто быть не может, означал ее молчаливый ответ, рефреном к сказанной чуть раньше фразе о том, что ее нельзя любить.

— Вы первый друг, который был у меня за всю мою жизнь, Ральф. У всех людей есть друзья, а у меня их никогда не было. По крайней мере, в

романах друзья бывают у всех.

— Ради вас я готов на все.

— Расскажите мне еще про те места, где вы живете, про дом и все прочее. Так, чтобы я могла себе это представить, когда вас не будет.

— Да о чем тут рассказывать, Люси, места как места.

— Все равно расскажите.

И Ральф стал рассказывать, смешавшись, чувствуя себя совершенно несчастным. Он описал дом, потом мост, который был виден из окон его спальни, а за мостом бар и склад Логана, где торговали всем на свете — от овощей до скобяного товара. Ему и в голову никогда не приходило, что у него в жизни может быть какой-то другой путь, кроме как унаследовать лесопилку и дальше жить до самой смерти в небольшом, увитом плющом двухэтажном доме у дороги. В поле у моста стояло когда-то аббатство, или что-то вроде того, но от него уже почти ничего не осталось.

— А что осталось?

— Одна только башня, да и та обвалившаяся. Вот, собственно, и все.

— Какая жалость!

— Кажется, там должны быть еще могилы монахов. Люди говорят.

— А вы туда ходите, Ральф?

— А зачем, что там делать?

— Искать могилы.

— Нет, этим я не занимаюсь.

— А я бы сходила.

— Люси…

— А на складах Логана вас знают?

— То есть?

— Ну, знают, кто вы такой?

— Я постоянно хожу мимо них. Они меня видят.

— Расскажите про вашу школу.

— Ну, Люси…

— Пожалуйста, Ральф, расскажите. Ну, пожалуйста.

— Их было две.

И Ральф рассказал про первую, ту самую, где он тосковал по дому: серый дом на Даблин-сквер, прогулки парами по воскресеньям, по пустынным улицам, капустный суп.

— Да нет, не может быть, чтобы вас кормили капустным супом. Разве бывает капустный суп?

— У нас он так назывался.

— А в следующей вашей школе тоже был капустный суп?

— Та была получше. Не холодно, не жарко.

— Как это?

— Ну, не знаю.

— Расскажите мне о ней. Обо всем расскажите.

— Она неподалеку от Дублина, в горах. Мы там ходили в мантиях. А отличникам выдавали особые мантии, пошире.

— Вы были отличником?

— Вот уж нет.

— А по каким предметам у вас особенно хорошо получалось?

— Да, в общем-то, не по каким. Там про меня, наверное, теперь уже никто и не вспомнит.

— А в игры вы играли?

— Приходилось.

— А что у вас получалось лучше всего?

— Я вроде как неплохо играл в теннис.

— Поэтому и школу вы ненавидели не так сильно, как прежнюю?

— Да, наверное. А если я вас поцелую, вы не станете возражать?

— Да мы вроде уже пришли. Нет, не стану.

* * *

Каждый вечер Хенри ждал на кухне ужин, ничем не отличавшийся от завтрака и всегда один и тот же: яичница с поджаренным хлебом, ломтик

бекона. К сему полагался чай: крепкий, сладкий и молока побольше.

В тот вечер, когда Ральф признался в любви, ужин был такой же, как всегда, за исключением того, что за ним было сказано. Час назад Хенри видел, как Ральф и Люси идут через двор, и обратил внимание на то, что манера у него стала какая-то другая и у нее тоже. Они явно чего-то смущались, что-то такое между ними произошло, и шли почти молча. Хенри подумал было, что они поссорились; но Бриджит, которая чуть погодя тоже заметила за ними это особенное настроение, и раньше случалось перехватывать Ральфовы взгляды в сторону Люси за обеденным столом, и о природе его чувств она уже успела догадаться: вся разница в том, что теперь он ей об этих своих чувствах сказал.

На кухне Бриджит озвучила эти свои соображения и встала в тупик, когда попыталась предположить, что же будет дальше. Гость уедет из Лахардана, и по мере того, как осень уступит место зиме, дни будут становиться короче. Пройдет Рождество, и в самом начале нового года погода, как всегда, будет хуже некуда. Вернется ли он в Инниселу, когда придет лето? Приедет ли снова сюда, в Лахардан? Или же время, которое

вечно старается все и везде перепутать, украдет его у них этак невзначай?

В Лахардане часто все складывалось так, что Бриджит хотелось приласкать и успокоить Люси, как в былые времена, когда та была совсем еще несмышленая, или чуть позже, когда она уже подросла, но все равно была ребенок ребенком. Теперь Люси всегда была вроде бы под рукой, но в то же время совершенно недосягаема: одинокая фигурка за книжкой по ночам у лампы или днем в саду или бродит целыми днями то по лесам в лощине, то по пляжу, а из друзей — только толстяк стряпчий да старичок священник. Если в дом приходило письмо, то ожидание, надежда все еще вспыхивали, но только на секунду, пока конверт не успели как следует рассмотреть. Всегда хватало и конверта.

— Да, пожалуй, ты права, — согласился Хенри, вколачивая каждое слово на место кивком, отдавая — постфактум — должное ее проницательности.

Он допил чай и отставил чашку в сторону.

— Может, оно действительно и к лучшему. Как веревочка ни вейся…

Бриджит, которая как раз взялась убирать со стола, ничуть не удивилась его словам: она зна-

ла, что рано или поздно услышит именно эту фразу. Но перемена в настроении мужа никаких комментариев с ее стороны не вызвала: она уже давным-давно сама все сказала и что теперь по десять раз толочь воду в ступе. То, что случилось этим летом, было к лучшему.

— Все равно они для нее будут как чужие, — сказала она. — Даже если объявятся завтра с утра.

Хенри сэкономил спичку, прикурив у плиты от щепочки. Он не отдавал себе отчета в том, что его чувства называются отцовскими; он всего лишь пытался сделать так, чтобы с капитановой дочкой не случилось ничего дурного, а потому ухаживания со стороны чужого человека вызывали в нем вполне понятные подозрения, как, вероятнее всего, вызвали бы их в ее родном отце. Но покуда Ральф жил в доме, Хенри он нравился все больше и больше. И, сказав, что все случившееся этим летом — к лучшему, он имел в виду нечто большее, чем буквальный смысл произнесенной фразы. Было бы совсем неплохо, если бы капитанову дочку увезли отсюда, и довлеющая дому тьма перестала бы иметь над ней власть.

* * *

Дождь шел всю ночь и весь следующий день. Они сыграли в багатель, и Люси завела тот самый долгожданный разговор о «Ярмарке тщеславия». Потом они еще раз сыграли в багатель. Ральф сказал:

— Я люблю вас, Люси.

Люси не стала напоминать ему о том, что он уже говорил ей об этом, причем неоднократно. Она осторожно погладила его кончиками пальцев по тыльной стороне руки. Потом погладила по голове.

— Милый Ральф, — сказала она, — вам не следовало в меня влюбляться.

— Ничего не могу с собой поделать.

— Можно попросить вас об одной услуге? Когда настанет день вашей свадьбы, напишите мне, чтобы сообщить об этом. Так, чтобы я знала и могла себе все это представить. И еще пишите всякий раз, как у вас будут рождаться дети. А еще, может быть, вы напишете мне, как зовут вашу жену, и опишете ее, хотя бы вкратце? Так, чтобы я всегда могла себе представить вас обоих, и всех ваших детей, в этом доме возле лесопилки. Обещаете, Ральф?

— Я хочу жениться на вас.

— Меня вы забудете. Забудете это лето. Оно увянет и выцветет, станет неразличимым, а голоса превратятся в неуловимый для вашего слуха шепот. Настоящее, вот этот миг, когда мы с вами здесь сидим, не может длиться долго, да и не должно длиться. Эта комната будет казаться вам ничуть не более реальной, чем мне — лица персонажей какого-нибудь романа. Лахардан будет сниться вам, Ральф, а может, даже и сниться не будет. Но если он все-таки станет являться вам во сне, я к тому времени уже успею превратиться в призрак.

— Люси…

— Ну, а мне-то вы будете сниться, я буду грезить о каждом из ваших приездов сюда, о тех днях, которые как раз сейчас подходят к концу, о нынешнем моменте, когда багатель нам надоела, потому что мы играли в нее слишком долго, и о том, как секундою позже я скажу вам: «Может быть, сыграем лучше в двадцать одно?»

— Почему вы говорите, что вас нельзя любить?

— Потому что эта ваша любовь принесет вам несчастье.

— Но я счастлив, понимаете, счастлив, что люблю вас.

— Может быть, сыграем в двадцать одно? Дождь, похоже, зарядил надолго.

— Да ведь и прогуляться можно под дождем. По крайней мере, по аллее.

Деревья и впрямь давали хоть какую-то защиту от дождя. Воздух был свеж; восхитительный воздух, как назвала его Люси. Они остановились на аллее, потом остановились еще раз, на крыльце сторожки.

— Ну, конечно, я тоже вас люблю, — сказала Люси. — Если хотите знать.

* * *

Бриджит, с чувством, что нужно как-то поднять всем настроение, растопила в гостиной камин. Дождь пошел сильнее, по окнам сбегали ручейки, а потом первые порывы ветра изменили направление дождя. Поначалу ветер был не сильный, но не прошло и часа, как характер дня переменился до неузнаваемости. Ветер вихрем гнал сухие листья, чтобы как следует наиграться с ними, пока они не отмокли и не легли на землю. Он ломился в парадную дверь и в окна. Он швырял потоки ливня о стекла, разбивая тяжелые капли, которые подолгу медлили где-нибудь под рамой, прежде чем набрать достаточно воды и не торо-

пясь скатиться вниз. Н-да, на море сейчас лучше даже не смотреть, сказал Хенри.

У камина в гостиной они поджаривали тосты, подставляя ломтики хлеба поближе к угольям, в самый жар. Они сидели на ковре у камина и читали.

— А это кто такой? — спросил Ральф, указав на единственный в комнате портрет над письменным столом, а Люси сказала, что это какой-то из Голтов, но кто именно, она не знает. Она завела граммофон и поставила пластинку. Джон Каунт Мак-Кормак запел «Сэлли Гарденз».

Они отправились взглянуть на море, и ветер успел разойтись до того, что они друг друга едва слышали. Волны взвивались на дыбы, как дикие белые кони, и разбивались в пыль, в клочья белой пены, и норовили догнать друг друга. Грохот прибоя пополам с воем ветра — такого больше нигде не услышишь.

Когда они обнялись у самой кромки моря, каждый почувствовал на губах у другого вкус соли. Волосы у Люси вымокли, растрепались и спутались, а у Ральфа плотно облепили череп. Шторм заколдовал их так же властно и неотступно, как любовь. Люси подумала, что, наверное, уже никогда в жизни не будет так счастлива, как теперь.

— Да разве можно о таком забыть, — прошептала она, и никто ее не услышал.

— Я не смогу разлюбить тебя, — сказал Ральф, и тоже в никуда.

Они обсушились у камина в гостиной. Бриджит принесла перекусить, потому что здесь было теплее, чем в столовой. Она увидела, какие они счастливые, и вспомнила, что через несколько дней Ральфу уезжать. Молиться она не стала: не тот повод для молитвы. Вместо этого она загадала на будущее и увидела их вместе, улыбчивых, сначала в одной комнате, потом в другой, и услышала, как они говорят о любви, и поняла, что они будут вместе до самой смерти.

— Ой, смотри, лососина! — воскликнула Люси.

Судя по всему, миссис Мак-Брайд прочитала в очередном адресованном ей через Хенри списке: «банка семги „Джон Вест“», и поняла, что намечается некое пиршество, потому что «Джон Вест» — удовольствие дорогое. А еще были крохотные сладкие помидорчики, которые Хенри вырастил в отстроенной заново несколько лет тому назад теплице. С латуком, маленькими луковками и ломтиками сваренного вкрутую яйца из них получился отличный салат.

— Может, выпьем вина? — предложила Люси.

— Белого вина? Я, кажется, ни разу в жизни не пробовала вина, если не считать горьковатого красного, в церкви.

Она вышла и мгновение спустя вернулась с бутылкой и двумя стаканами. Там осталась тьма-тьмущая бутылок, на полках в кладовой, и белое, и красное, туда сто лет никто не заходил.

— Поищите штопор, он в каком-нибудь из ящиков стола. Да-да, где-нибудь там. Ага, вот и славно!

Они пододвинули стол поближе к огню, а к столу — два стула. Ральф разлил вино, и ему вдруг отчаянно расхотелось куда бы то ни было уезжать из этого дома. А хотелось ему теперь вовсе не увозить ее отсюда, а, наоборот, самому остаться с ней, потому что она была здесь на своем единственно правильном месте, и ему показалось, что отныне это и для него — единственно правильное место. Игла на граммофоне вычерчивала «Лондондерри».

* * *

В ту ночь в море пропали двое рыбаков из Килорана; они уже успели выбрать сети и взяли курс на берег, когда налетел внезапный шквал. В деревне их оплакивали, и скорбное чувство

передалось Люси и Ральфу, когда они туда зашли, как раз накануне его отъезда. В доме, вокруг которого собралась вся деревня, голосили женщины. Пришел скрипач, на случай, если кто-нибудь попросит сыграть отходную.

— И как мне только в голову пришло от них сбежать? — сказала Люси на пляже, на обратном пути в Лахардан; в руках у них были крученые фитили вместо фонариков и купленная в деревне газета. — Они наверняка страдали так же, как сейчас страдают эти женщины. Хоть бы только они меня когда-нибудь простили. По-другому мне от этого никак не избавиться.

Этот приступ откровенности возник как-то сам собой, из ничего, и Ральф ни словом на него не отозвался.

— А еще я была тогда по уши влюблена — в деревья, в лагуны среди скал и в следы на песке. Я была как будто не в себе, Ральф. Мне и сейчас кажется, что на меня тогда нашло затмение.

— Ничего подобного.

— Как у бедной миссис Рочестер! Для которой ни у кого не находилось доброго слова!

— Вы были ребенком.

— И на ребенка может найти затмение. А что, если я их в тот момент возненавидела и хотела

причинить им боль? А потом, почти сразу, мне стало так стыдно, так стыдно, — может быть, именно по этой причине?

— Я прошу вас, Люси, выходите за меня замуж.

Она медленно покачала головой.

— Мой отец стрелял в человека, но не убил. И мама боялась. А я тогда совсем ничего не понимала. Рассказать вам, Ральф?

И он стал слушать, и услышал уже знакомую историю, и увидел то, что представлял себе так часто: люди на галечнике, на песке, из дома несут свет, потом занимается утро.

— И хватило же мне смелости, — сказала Люси.

— Смелости вам не занимать, Люси.

— Дорогой мой Ральф, ну как я могу выйти за вас замуж?

Она потянулась губами к его губам и коснулась — едва ощутимо. Море было тихое, как пруд; волны с тихим шепотом набегали на берег. Небесная синь стала тоном темнее, чем в летнюю жару. На небе почти неподвижно висели белые, в пену взбитые облака.

— Мне дела нет до того, что вы когда-то сделали, Люси, я клянусь вам.

— Мне придется с этим жить, пока они не вер-

нутся.

— Да нет же, ничего подобного.

— Вы должны вернуться к нормальной человеческой жизни. И перестать быть гостем в моей. Потому что никем иным вы стать не сможете, Ральф, пусть даже я вас и люблю. Когда мы любим друг друга, мы вторгаемся в чужую собственность, воруем то, что нам не принадлежит. Ральф, родной мой, придется нам впредь обходиться воспоминаниями.

— Не придется. Я не хочу и не буду обходиться воспоминаниями.

— Ну, воспоминания, знаете ли, совсем не такая плохая штука.

— Плевать я хотел на воспоминания! — В голосе у него звякнула, как надломилась, горькая нота.

Потом они довольно долго шли молча, пока он не сказал:

— Я не стану увозить вас из Лахардана, если вы сами этого не захотите.

Казалось, она его не услышала. Она водила по песку кончиком туфли. И подняла голову только тогда, когда написала оба имени, свое и Ральфа.

Она сказала:

— О чем они думают, Ральф, про себя, не вслух? Почему они не возвращаются?

Ральф начал было отвечать, но понял, что его не слышат, и умолк. Они медленно двинулись дальше, и Люси сказала:

— Никакой ненависти к ним во мне, конечно, не было, вот только откуда им об этом знать, когда все факты говорят об обратном? В один прекрасный день — сегодня, завтра, через год или через два — они таки соберутся с духом и пустятся в обратный путь, и, когда бы они это ни сделали, поздно не будет.

— Бог ты мой, Люси, да они уже давным-давно вас простили и ничего, кроме счастья, вам не желают. Простили они вас, слышите, простили.

— Воспоминания могут составить целый мир, если вы сами им это позволите. Впрочем, вы правы: вам это совсем ни к чему. Это моя доля, мне с ней и жить. Мы с вами любили друг друга, и воспоминаний об этом мне хватит на всю жизнь. Я буду закрывать глаза и снова чувствовать ваши губы, и видеть вашу улыбку так же ясно, как эти волны, которые вижу каждый божий день. Мы с вами были такими близкими друзьями, Ральф! Видит Бог, как нам не хотелось, чтобы кончилось это лето! Следующее лето будет совсем другим, и мы с вами оба об этом знаем.

— Ничего такого я не знаю и знать не хочу.

Просто чушь какая-то!

— Вот бы остановить время и оставить его навсегда, это наше с вами лето. Но — давайте не будем жадничать. А знаете, раньше я даже боялась их возвращения. Даже думала иногда, мол, пусть они и не возвращаются, потому что какая им, спрашивается, радость от моего наигорчайшего раскаяния? Им слишком многое пришлось бы мне простить: так какой же мне смысл надеяться на прощение? И все-таки, если бы они приехали прямо сейчас, если бы вышло так, что мы взобрались на обрыв, а они стоят там, такие удивленные, и слушают Бриджит, а она им обо всем рассказывает — как это было бы здорово! И нам с вами не пришлось бы жить воспоминаниями.

Через два дня Ральф уехал. Хенри на таратайке отвез его на вокзал в Инниселу. Люси могла бы отправиться вместе с ними, могла бы стоять и махать рукой на железнодорожной платформе, пока поезд трогается с места и увозит Ральфа прочь. Но она сказала, что ей бы этого не хотелось; взамен она махала ему рукой от парадной двери, а потом — на подъездной аллее.

Три

1

Молитва продолжала служить утешением человеку, который стал солдатом. Но его надежде на то, что строгость, суровость армейской жизни и присущий ей коллективизм как-то упорядочат поселившийся в нем хаос, сбыться было не суждено. Когда его мать лежала при смерти, он было подумал поделиться с ней этой своей бедой, потому что она все равно уже никому и ничего не расскажет. Но всякий раз при попытке выйти на эту тему он впадал в панику, ему казалось, что кто-то подслушивает, хотя он прекрасно знал, что никого, кроме них с матерью, в доме нет.

В Лагере он давно уже стал фигурой привычной: отсутствующее выражение на худом лице и напряженный взгляд куда-то в сторону были хорошо знакомы всем, кто так или иначе соприкасался с ним по службе. Этим людям случалось попадать в другие армейские части и рассказывать в той или иной связи о тихом долговязом человеке, который вечно вроде как здесь и не здесь, о том, какой он странный и сколько времени он проводит в часовне перед статуей Богородицы. Он так и не обзавелся друзьями,

но в отправлении служебных обязанностей ему были свойственны исполнительность, добросовестность и надежность, каковые качества не ускользнули от внимания офицеров части. Он рыл выгребные ямы, мостил дороги, прилежно выполнял наряды по кухне, строго следовал инструкциям во всем, что касалось обращения с вверенным ему снаряжением, и, если требовались добровольцы, он всегда вызывался первым. О том, что он пытается таким образом решить свои собственные проблемы, не знал никто.

Именно так и складывалась дальнейшая жизнь Хорахана. Когда пошли слухи о том, что скоро в Европе начнется война, воцарившееся в Лагере чувство тревоги и неопределенности не ускользнуло от его внимания, но особого влияния на него не оказало. Стали поговаривать о возможности иностранной интервенции. В ближайшие годы всякое могло случиться, и в качестве знака повышенной боеготовности в Лагере появились мешки с песком и прочее оборонительное снаряжение. Пользуясь случаем, командиры увеличили норму времени на боевую подготовку.

Хорахан быстро встроился в этот наспех созданный режим. Не задумываясь о причинах происшедших изменений, он выполнял все, что

от него требовалось, и не задавал лишних вопросов. Но теперь ему и днем начали мерещиться похороны, которые он постоянно видел во сне. Катафалк ехал по улицам знакомого города; потом он сам принимался рыть могилу, а когда могила была готова, глина смыкалась у него над головой. Он лежал рядом с гробом, но когда девочка принималась звать на помощь, он никак не мог до нее дотянуться.

В городе он время от времени спрашивал людей о том доме, который в его снах занимался как стог сена и сгорал дотла. Ему в который раз говорили, что никакого пожара в доме не было, что девочка, которую во сне он неизменно видел мертвой, жива, но осталась без родителей, которые из-за нелепой ошибки бросили ее одну и уехали за границу. Но потом все равно были похороны, катафалк ехал по знакомым улицам, и эхом отдавались копыта, и все равно он просыпался насквозь мокрый от пота. По ночам он часто вставал со своей узенькой койки и, как был, босой выбирался из темной казармы наружу. В часовне ему не хватало духу даже зажечь свечку, и он вставал на колени перед невидимой во тьме Богородицей и умолял ее ниспослать ему знак, просто шепнуть что-нибудь на ухо, и тогда он

будет знать, что не покинут во тьме.

2

Капитан Голт и его жена уехали из Италии. Они и так задержались в этой стране дольше, чем планировал капитан. Ему хотелось верить в знамения, пусть и не слишком надежные, того, что все еще может как-то обернуться к лучшему: очаровав свой народ широтой души, масштабностью планов и архитектурных ансамблей, Муссолини объявил себя сторонником мирного курса. Впрочем, в скором времени, как следует взвесив все «за» и «против», он решил, что курс на войну ему куда более выгоден.

Они пересекли швейцарскую границу той же самой дорогой, что и семнадцать лет назад, только в обратном направлении. Уезжать им не хотелось, и они постарались взять с собой все, что только могли увезти. Поселились они в скромном городке под названием Беллинцона, где говорили на языке, к которому они уже успели привыкнуть.

3

Мы часто о Вас вспоминаем, писала миссис Райал, *и прикидываем про себя, как там идут ваши дела. Сколько раз я говорила себе: «Сегодня обязательно напишу Ральфу», — да так ни разу и не собралась. С другой стороны, мне всегда есть чем заняться — когда мальчики здесь, они весь дом переворачивают вверх дном, когда их нет, нужно варить варенье и готовить всякие другие разности, чтобы им было что взять с собой. Они растут, и умишка у них понемногу прибавляется, — вы бы их, пожалуй, теперь не узнали. Килдэр уже, считай, совсем взрослый молодой человек, только такой уж он худой, такой долговязый! Джек хочет стать садоводом, хотя, мне кажется, ему просто нравится само это слово! Они оба часто о Вас вспоминают, и мы искренне благодарны Вам за те несколько месяцев, которые Вы у нас провели. Люси Голт, которую Вы, уверена, забыть не успели, по-прежнему в Лахардане. Там все как раньше. У нас тоже все в порядке.*

* * *

Очень мило с Вашей стороны, что вы обо мне помните, писал в ответ Ральф, *и весть о том, что мальчики остепенились, искренне меня порадовала. Я не забыл о том, как Вы были добры ко мне, и часто вспоминаю славные утренние часы, проведенные в вашем саду. Прошу Вас, почаще напоминайте обо мне мистеру Райалу да и мальчикам, когда они снова вернутся домой. Даст Бог, когда-нибудь наши пути-дороги пересекутся опять. Рад слышать, что у вас все в порядке.*

По-другому он Райалов даже и не мог себе представить. Он не мог себе представить этих людей несчастливыми или впавшими в уныние. И конечно же, им известно о том, что он с тех пор так и не возвращался в Лахардан.

* * *

Я нашла еще одну книгу, писала Люси, *«Флоренс*

Макарти» леди Морган[27]*. Сперва мне казалось, что книга так себе. Но она оказалась много лучше, чем от нее можно было ожидать.*

Вчера на камнях заметила стайку бакланов. И сразу вспомнила о Вас — помните, как-то раз после обеда мы с вами наблюдали за точно такой же стайкой? Кажется, сто лет прошло с тех пор, как кончилось наше лето, а через минуту приходит совершенно иное чувство — как будто все было вчера.

Довольно часто Люси перечитывала первое письмо, пришедшее от Ральфа вскоре после его отъезда.

> …я складываю цифры и совершенно в них теряюсь. Сквозь филенчатое окно конторы я смотрю на кипящую внизу, во дворе, деятельность и остро ощущаю, какую злую шутку сыграла надо мной жизнь. Лязгает вся эта машинерия по-прежнему или вдруг остановится – а мне-то, собственно, какое до этого дело?

---

[27] Примечания: 27

Леди Сидни Морган, урожденная Сидни Оуэнсон (1783–1859), ирландская писательница, автор романтических любовных романов с некоторым налетом местного ирландского колорита, путевой и биографической прозы. «Флоренс Макарти» — не самый известный из ее романов.

Какое мне дело, что вяз годен разве что на гробы, а дуб деформировался, пока лежал на выдержке? Ремни передачи натянуты туго, зубчатые колеса попадают точно в нужный паз. Я смотрю, как подают на распил древесный ствол, а потом поднимают готовые доски. В лучах солнца клубится пыль, людские голоса тонут в грохоте моторов. Вы стоите в белом платье в широком дверном проеме. Вы машете мне рукой, и я машу в ответ. Но что здесь толку от призраков, от полуденных наваждений!

Прежде чем перевязать это письмо лентой вместе со всеми остальными его письмами, она всякий раз дотрагивалась до него губами. Было совсем не трудно увидеть описанную сцену, услышать грохот машин, почувствовать запах свежераспиленного дерева. *Я принес вам одни только неудобства,* читала она в другом письме. *Я отвлек вас от вашей неусыпной вахты. Я часами ругаю себя за это, а потом вдруг понимаю, что — зря. Вы ведь знать не знаете, как я люблю Вас, Люси. Вы даже и представить себе этого не можете.*

Настанет день, и переписка прекратится сама собой, думала Люси, потому что и сейчас уже вся она сплошь состоит из повторов. *Ральф, вы должны помнить о том, что у Вас есть собственная жизнь*, писала она в ответ.

* * *

Отрывая от башмака сносившуюся подошву, Хенри обнаружил, что отошла она недостаточно чисто; он не заметил и забыл выдернуть плоскогубцами несколько гвоздиков, и теперь на них остались кусочки кожи. Когда-то много лет назад, задолго до того, как сам Хенри появился в Лахардане, кто-то из Голтов увлекся сапожным ремеслом. В одной из надворных построек, которая даже и в те времена уже служила мастерской, остался полный набор инструмента, ножи и все такое. Там по-прежнему висели кожи, на полке стояли жестянки с сапожными гвоздями, металлическими подковками и дратвой.

Хенри уже два раза чинил эти башмаки. К сапожному делу у него постепенно выработалась хорошая, не без удовольствия привычка; поначалу, конечно, пришлось догадываться о назначении каждого резака, но зато потом он обнаружил, что навык приходит сам собой, нуж-

но только терпение. Вырезая новую подошву, он поймал себя на привычной мысли о том, как бы все обернулось, если бы смута 1921 года обошла этот затерянный в самой что ни на есть глубинке дом стороной, если бы не случилось ни ночного налета, ни вызванных им страха и душевных мук. Какой-нибудь другой человек, не похожий на капитана по духу и складу, не стал бы обращать внимания на нервические страхи жены, счел бы их безосновательными и глупыми да и вообще просто-напросто велел бы ей держать себя в руках. То обстоятельство, что причиной всему стали трое зеленых юнцов, заведенных настолько, что они и сами едва отдавали себе отчет в происходящем, казалось Хенри совершенно удивительным.

Он ровнял кромку, покуда подметка точь-в-точь не подошла под башмак, а потом стал вырезать вторую. Когда он в первый раз сделал Люси пару туфель, они оказались неудобными, но она ничего не сказала. «Хватит уже, выбрось ты это старье совсем». — Он пытался настоять на своем, когда заметил, как она в них хромает, но все без толку. Когда ему не нравилось, что она может выйти замуж за этого парня, когда ему не нравилось, что они сдружились между собой,

он просто не понимал того, что сразу поняла Бриджит, у которой в такого рода делах голова соображает куда быстрей. «Ты сам сильней меня будешь переживать, если она останется одна», — сказала Бриджит.

Вот теперь они и переживали, оба. Конечно, остались письма, но почтальонов велосипед, который лихо проезжал последние несколько ярдов подъездной аллеи вроде как сам собой, без рук, расщелкивая из-под колес камушки на развороте, показывался теперь все реже, иногда раз в несколько месяцев, а потом и вовсе исчез. Однажды, когда без писем прошла почитай что целая зима, Хенри заметил на пляже одинокую фигурку и человека этого — издалека — не узнал. Потом он еще раз видел ту же самую фигуру, много позже, да и время года было совсем другое. Это мог быть кто угодно, а Хенри не имел обыкновения строить догадки, но когда он сказал об этом Бриджит, та сказала в ответ, нет, конечно, это не он. Хенри стал почаще поглядывать вокруг, но одинокий странник так больше ни разу и не объявился, а потом настал день, который, казалось, — по крайней мере, Хенри именно так и показалось, — положил конец всей этой, теперь уже довольно давней истории, начавшейся с того мо-

мента, как «рено» мистера Райала нерешительно появился меж двумя рядами величавых деревьев на подъездной аллее. «Она говорит, он собирается записаться добровольцем», — сказала Бриджит, когда в Европе началась война, и добавила, что, может, оно и к лучшему, чем немало озадачила Хенри. А разве не может так выйти, продолжила свою мысль Бриджит, что разлука и ожидающие его на войне опасности как раз и расставят все по местам? Разве не обычное дело, когда, скажем, возвращается человек с войны целым и невредимым, но как-то и сам он становится другим, и на него начинают смотреть по-другому?

Хенри прибил гвоздиками вторую подошву и вправил на место кожаную стельку. Он, конечно, возражать Бриджит в тот раз не стал, но для себя провел все эти абы да кабы по разряду бабьих домыслов, на которые Бриджит была горазда; но все-таки чем черт не шутит, все действительно могло обернуться именно так, как она тогда сказала. Парень вернется с войны другим человеком да и задаст себе вопрос: а какой смысл и дальше ждать с моря погоды? И вот тогда уже Люси скажет, как сказал когда-то ее отец: давайте-ка заколачивать дом. Доски с окон Хенри снял и аккуратно сложил в сарае штабелем; они и еще

раз на то же дело вполне сгодятся. И вот в один прекрасный день он пойдет поправить сланцевые плитки на крыше сторожки, чтобы они с Бриджит смогли опять вернуться в свой настоящий дом. Он раскроет все окна и двери, чтобы выветрилась сырость, и возьмет с собой немного краски, чтобы подкрасить где надо. Он вскопает тамошний давно уже заброшенный огородик. А когда придет пора, он снесет вниз сундуки, за которыми так никто и не прислал, а Бриджит достанет очередную стопку простыней, чтобы зачехлить мебель. Как бы там все ни обернулось, Хенри казалось, что именно так Люси и распорядится, когда вопрос со свадьбой будет уже решен, — пока ее не увезли в графство Вексфорд. Как ни скажет Бриджит, тут и понимать нечего, когда и так все ясно.

Хенри подтемнил кожу на срезе, там, где ее было видно, и подшил в один из башмаков новый язычок, предварительно также его подтемнив. Народятся у них детишки, сказала Бриджит, и станут они время от времени наезжать, чтобы показать им старый дом, а по пути мимо сторожки уж никак не проедут. Хенри аккуратно разложил инструмент по местам на полочке над рабочей скамейкой. Потом снял с гвоздика

ветошь и принялся начищать башмаки ваксой, никуда не торопясь, потому что ваксы у него было хоть отбавляй.

* * *

Война, на которую добровольцем отправился Ральф, наложила свой отпечаток даже на заявившую о своем нейтралитете Ирландию. Предосторожности на случай вторжения, которые уже были приняты в военном лагере возле Иниселы, распространились теперь на всю страну, в то время как в Европе армии переходили в наступление и бомбы сыпались на далекие города. Более строгим стало ночное затемнение; раздали противогазы; проводился инструктаж по пользованию пожарными кранами. Война, под фамильярным имечком Чрезвычайщина, принесла с собой хронический дефицит бензина, парафина для ламп, которыми традиционно освещались дома вроде Лахардана, чая, кофе и какао, одежды английского производства. Целые поля засевались невиданными прежде культурами, вроде сахарной свеклы или помидоров. Дров и торфа уходило куда больше, чем прежде. Хлеб стал каким-то серым.

Люси каждый день ходила в Килоран, чтобы

купить «Айриш Таймс» и прочитать о том, что творится в мире. В тех редких письмах, которые по-прежнему приходили от Ральфа, целые куски были густо замазаны черным; а иногда армейский цензор попросту вырезал лишние, с его точки зрения, фразы, так что исчезала, естественно, пара строк и с обратной стороны листа; за доступной или дозволенной информацией она обращалась к военным сводкам, в которых смерть принимала облик безликой цифири, — в счете не вернувшимся с боевых вылетов «спитфайрам», в счете потерь при отступлении и эвакуации. И она прекрасно знала, что есть еще неучтенные и неупомянутые потери. Вечером по воскресеньям она слушала, как в радиоприемнике, который она перенесла в гостиную, играют национальные гимны стран-союзниц, один за другим, и время от времени добавлялся какой-нибудь новый гимн: по крайней мере, хоть этому можно было порадоваться.

Но радость бывала недолгой. Стоило Люси выйти на пляж или в лес, и Ральфовы черты начинали мерещиться ей застывшими, схваченными смертью: его тело в неестественной позе, негнущиеся руки и ноги. Кто-то незнакомый закрывал ему веки, чтобы погасить невидящий

взгляд, и шел дальше. Мундир, которого она ни разу не видела, был сплошь заляпан грязью.

Эти видения изводили ее, пока не приходило следующее письмо и не давало краткой передышки до следующей, накатывающей следом волны страхов. И вот, когда раз десять подряд случалось так, что очередного успокоения хватало буквально на день, на два, домыслы Бриджит как-то сами собой переросли в твердую решимость Люси. Если Ральф вернется, она уедет к нему сразу, как только услышит о его возвращении.

4

– *Signore! Signore!* — кричал вверх, стоя на нижней лестничной площадке, уборщик. — *Il dottore…*[28]

Капитан отозвался, и на лестнице тут же послышались шаги поднимающегося на второй этаж врача.

– *Buongiorno, signore.*

– *Buongiome, dottor Lucca.*

Пока доктор был занят, капитан сварил кофе. Снаружи холод стоял страшный, самая холодная зима, которую видела Беллинцона на памяти нынешнего поколения, — по крайней мере, так говорили местные жители. Он смотрел из окна, как люди идут на работу, на почтовую автостанцию, на часовую фабрику, запустить станки на холостой ход, чтобы они не вышли из строя из-за вынужденного отсутствия нагрузки: шла война, Швейцария оказалась в изоляции, и спрос на сувенирные часы резко упал. Булочник с короткой левой ногой проковылял мимо с ночной смены, плотно запахнув пальто. Дорожная команда

---

[28] Примечания: 28
Синьор! Синьор! Доктор… (итал.)

вгрызалась лопатами в снег.

— Если она сама не хочет жить, — сказал врач по-итальянски, — заставить ее выжить я не в силах.

Потом он повторил туже фразу по-английски, чуть менее уверенно. Капитан понял оба раза. Доктор Лукка всякий раз говорил одно и то же. Обследование не заняло и пяти минут, и капитан сомневался, что сегодня он удосужился хотя бы достать из саквояжа стетоскоп.

— У моей жены инфлюэнца, — сказал он, тоже по-итальянски.

– *Si, signore, si.*

Они выпили по чашке кофе стоя. Сейчас по всему городу эпидемия инфлюэнцы, сказал доктор, трудно будет найти такой дом, где нет хотя бы одного больного. В сложившейся ситуации эпидемии неизбежны, самого разного толка; чего, собственно, и следовало ожидать. И подточившая здоровье *la signora* меланхолия есть с этой точки зрения куда более насущный и серьезный повод для беспокойства.

— Послушайте меня, *signore.* Болезнь, конечно, тоже играет не последнюю роль, но именно в качестве осложнения…

— Я знаю.

Перед уходом доктор пожал ему руку. Он был гуманист и брал за свои услуги самый минимум, и единственное, чего ему хотелось, так это чтобы все его пациенты оправились от своих недугов и жили здоровыми долго и счастливо. Жизнь, о чем он никогда не уставал напоминать своим пациентам на здравомыслящий швейцарский манер, коротка, даже если живешь в свое удовольствие. Доктор не очень хорошо говорил по-английски.

– *Grazie, dottore. Grazie*[29].

– *Arrivederci, signore*[30].

Он оставил рецепт, который оставлял всем своим пациентам. Лекарство поможет сбить температуру и облегчит головную боль. Он велел капитану следить за тем, чтобы жена не мерзла.

Доктор Лукка ушел, а безнадежность в его взгляде осталась с Эверардом Голтом и после ухода врача. Он заварил в кувшинчике некрепкого чая и отнес его в спальню. За долгие годы, прошедшие с тех пор, как началось их изгнание, они с Хелоиз успели привыкнуть заваривать чай в кувшине, поскольку ни в Италии, ни в Швейцарии заварочными чайниками никто не пользовался,

---

[29] Примечания: 29
Спасибо, доктор. Спасибо (итал.).

[30] Примечания: 30
До свидания, синьор (итал.).

а значит, их и не было в продаже.

— Пусть немного остынет, — попросила Хелоиз, когда он поднес ей чашку.

На чашке был узор из листьев и синих цветов, они купили две такие в Монтемарморео, и капитану эти чашки всегда напоминали о лахарданских гортензиях. Поначалу это напоминание постоянно действовало ему на нервы, и он счел за лучшее убрать эти чашки вместе с блюдцами подальше, задвинув их в самую глубину буфета, но потом счел нелепым идти на поводу у собственной слабости и теперь встречал искушение лицом к лицу.

— Как ты думаешь, церковь Святой Цецилии в Монтемарморео пережила войну? — тихо проговорила Хелоиз, пока они ждали чая.

Она часто думала об этом вслух. В церкви хранился единственный на весь Монтемарморео образ почитаемой в городе святой. Суждено ли и ему претерпеть мученическую смерть, быть заваленным камнями, как когда-то погибла сама святая?

— А я бы и понятия не имела, что была на свете святая Цецилия, если бы мы не приехали в Италию.

— Да, это уж точно, — улыбнулся он и поднес

ей к самым губам чашку с чаем. Но она даже не пригубила.

— Я не стояла бы перед «Воскресением Христа» Пьетро делла Франческо, — ее голос угас до еле слышного шепота. — И перед «Благой вестью» Фра Анжелико. И перед испуганными монахами Карпаччо.

Капитан, который часто не помнил того, что так ясно стояло перед глазами у его жены, взял ее за руку и еще какое-то время посидел у изголовья. Самые чудесные минуты за всю ее жизнь, сказала она через мгновенье, а потом уснула, внезапно провалившись в забытье.

Капитан подоткнул одеяло, чтобы она не замерзла, и поудобнее устроил ее на подушках. Пока он суетился около нее, она так и не проснулась, легкая улыбка, тронувшая уголки ее губ, когда она заговорила о монахах Карпаччо, так и осталась в уголках губ. Выливая нетронутый чай, он подумал, а не снятся ли ей сейчас эти самые монахи.

Выйдя из комнаты, он тихо закрыл за собой дверь и немного постоял, на случай, если изнутри донесется какой-либо звук, а потом, ничего не услышав, пошел прочь. Как же мало связаны между собой тот ужас, который изо дня в день

не могла не взращивать в себе его жена, и его собственная к ней любовь; с этой привычной мыслью капитан Голт надел пальто и перчатки и вышел на обычную послеполуденную прогулку. Вот уже примерно месяц, с тех пор как слегла жена, он ходил гулять один. Встречные справлялись о здоровье жены и уверяли его в том, что скоро она пойдет на поправку, если судить по опыту других жертв местной вспышки инфлюэнцы.

Воздух еще не успел прогреться, да, собственно, так до самого вечера и не прогрелся. Ему вспомнился день свадьбы, как она свела к шутке ясно высказанное тетушкино неодобрение и как к нему долго пробивался какой-то совершенно незнакомый человек только для того, чтобы сказать, как ему повезло. Столько лет прошло с тех пор, и еще ни разу он сам в этом не усомнился. Две жизни, соединенные в тот день посредством словесной формулы, теперь срослись неразделимо. Вскоре он повернул обратно к дому, потому что не мог надолго оставлять ее одну, хотя она сама его довольно часто о том просила. Искрилась на окнах наледь, подсвеченная изнутри, — вот уже и сумерки. В кафе возле церкви он выпил рюмку коньяку, и на душе стало немного легче.

— Дорогая моя, — тихо позвал он, отворив дверь

ее комнаты, и, даже не успев дойти до кровати, понял, что она не ответит.

* * *

Всю ночь капитана душили слезы, ему хотелось быть с ней, не важно, где и как. Плечи его тряслись, иногда он стонал в голос, а в промежутках между приступами горя подходил, чтобы еще раз взглянуть на лицо человека, которого любил так долго. Он всегда был ей верен, и даже мысль о том, что может быть как-то иначе, ни разу не приходила ему в голову, а еще он помнил, как часто Хелоиз говорила, что счастлива с ним, — даже за эти, последние несколько лет, здесь, в Беллинцоне, а до того в Монтемармарео и во время поездок по большим и малым итальянским городам. Она сумела стать счастливой, насколько то было возможно, и не важно, как ей это удалось. Капитан скорбел по ней и вспоминал самые счастливые моменты их общей, одной на двоих, жизни, удовольствия, ее смех и свой собственный, и как они открывали друг друга сразу после свадьбы, когда их любовь еще ничем не была омрачена. А теперь на этом месте разверзлась пустота, безликая, как снег на улицах.

— Какая же ты была сильная! — прошептал

капитан, опять возвращаясь в прошлое, к тем временам, когда ему пришлось оставить армию.

Он и тогда это знал, но сегодня понял совсем по-другому: так ненавязчиво и тихо, с какой-то странной тягой едва ли не к самоумалению, она умудрялась быть сильной за них двоих. Никакой благодарности за это она не требовала, и скажи он ей об этом сам, сочла бы сказанное чушью. Но именно это она после себя и оставила, куда ощутимее чем что бы то ни было еще.

Он просидел у ее изголовья до самого утра, пока не разгорелся следующий день, пока сумеречный зимний свет еще раз не воцарился над горами и городом. А потом занялся организацией похорон.

* * *

Когда опустили гроб, было сказано несколько тихих слов по-английски. Хелоиз Голт успокоилась среди угрюмых швейцарских надгробий: на некоторых искусственные лилии под стеклянными колпачками, на некоторых вделанная в полированный гранитный памятник фотография усопшего. Когда-нибудь между ними похоронят еще одного иностранца.

Люди, которые были знакомы с этой англичанкой, которым, пусть издалека, она была

симпатична, пришли на отпевание в церковь, а некоторые проследовали затем и на кладбище. *«Bella, bella»*, — шепнула вдовцу какая-то женщина, и перевода не потребовалось: его жена оставалась красавицей даже и в преклонном возрасте, даже и тогда, когда в ее глазах навсегда поселилось изнуряющее чувство боли. Вспомнив только о красоте, эта женщина, сама того не зная, принесла капитану большое утоление в печалях.

* * *

…Потому что, судя по всему, вы остались единственной из сколько-нибудь близких родственников Хелоиз. Инфлюэнца, да еще с осложнениями; она была уже не молода, и такого ей, конечно, было просто не вынести. Но умерла она тихо.

Но тетка Хелоиз и сама уже успела умереть. Письмо от капитана получила ее давнишняя компаньонка и наследница всей движимой и недвижимой собственности. Что же до мисс Шамбрэ, то племянница покойной, живая ли, мертвая, нимало ее не беспокоила. Она перечитала один-единственный исписанный лист бумаги еще раз, а потом аккуратно порвала его на маленькие квадратные кусочки и уронила в камин.

5

Серым декабрьским утром, когда на очередном письме от Ральфа снова оказалась ирландская марка, Люси выяснила, что какое-то время его часть была расквартирована в Чешире, а еще какое-то — в Нортхэмптоншире. Не вдаваясь в особые подробности, он восполнил то, что вымарали армейские цензоры: он воевал в Северной Африке, он присутствовал при сдаче гарнизонов на Корфу. Его просьбы звучали по-прежнему настойчиво, как звучали все это время, куда бы ни занесла его военная судьба; и вот теперь — опять из графства Вексфорд.

Но то обещание, которое Люси дала сама себе и которое и без того продержалось ужасно долго, теперь, дало сбой: она увидела его почерк на конверте с совершенно безопасной ирландской маркой, и из глаз у нее хлынули слезы благодарности. Пускай не сразу, пускай постепенно, изо дня в день, ее добрые намерения вымывались в бескрайнем море облегчения. Война повсюду внесла свои коррективы: по всей Европе, по всему миру ничто не осталось прежним. Разве не могло случиться так, что зияющая в душах ее

родителей пустота исчерпает себя, что шести лет войны и наступившего мира будет достаточно для того, чтобы вернуть их обратно в Ирландию, в которой тоже произошло немало перемен и которая на протяжении целого поколения жила в мире? Она слышала их голоса такими, какими их запомнила. Она видела, как в Инниселу привозят чемоданы: кожа, когда-то отполированная до блеска, потерлась и растрескалась, давным-давно уложенные вещи слежались по складкам. *Сердце у меня не каменное,* писала она Ральфу, умоляя понять ее и простить. *И, Господи, как же я счастлива, что Вы теперь вне опасности! Я представляю Вас себе на фоне всех тех мест, о которых вы мне рассказывали, а теперь опять — дома.* Но после, когда письмо было уже отправлено, ей показалось, что звучит оно фальшиво; а эта фраза насчет сердца и вовсе ни в какие ворота не лезет. Она написала еще раз, чтобы сказать, что в прошлый раз была сама не своя.

— Да брось, не переживай, ты-то тут при чем? — пытался утешить жену Хенри, когда оказалось, что вся ее хваленая интуиция пошла насмарку вместе с теми обещаниями, которые Люси давала сама себе во время войны.

Бриджит ничего не сказала. Она могла бы

поговорить с Люси, могла бы направить ее рожденный окончанием войны оптимизм в нужное русло, могла бы лишний раз напомнить ей о чувствах Ральфа, о радостях былой дружбы и о письмах, благодаря которым эта дружба не умирает столько лет. Но, опасаясь, что вреда от такого рода разговоров будет больше, чем пользы, она так ничего и не сказала.

Когда от Ральфа пришло последнее письмо, Люси не поняла, что оно последнее. Но, обдумав его задним числом, когда письма уже перестали приходить, она отследила в нем нехарактерное для прежних писем настроение, нечеткость смысла в некоторых утверждениях и объяснениях, как если бы автор старательно подыскивал самые обтекаемые формулировки; как если бы за покровом привычных тем засквозила пунктирная пропись отчаяния, как если бы пишущий эти строки понял наконец бесполезность письма. Напиши она в ответ одну-единственную фразу, и все могло перемениться в одночасье. Она обязана была повиниться перед ним за то, что совершила своего рода предательство, не отдав должное любовному чувству, окрепшему от острого переживания той опасности, которая угрожала Ральфу, и все это вполне можно было бы доба-

вить к той самой, единственно важной строке. По справедливости именно так и следовало сделать; но не меньшим предательством казалась и утрата веры, связанная с окончанием войны и рождением новых надежд. Ее уверенность в том, что Ральфу не следует связывать свою жизнь с ее собственной, искореженной и нелепой, была теперь не менее острой, чем до войны. А веру в некий неожиданный поворот судьбы, как в единственное, на что она может рассчитывать, — поскольку именно в этом ключе уже успела сложиться вся ее жизнь, — нелепо приводить в качестве обоснования собственных решений или собственной нерешительности; она и не стала.

Новое поколение летних визитеров в Килоран время от времени замечало на пляже или возле скал одинокую женскую фигуру и с чувством сострадания выслушивало все ту же историю, которую по-прежнему здесь рассказывали. В отличие от предшествующего поколения, они не склонны были винить во всем происшедшем взбалмошную девочку, которой ни с того ни с сего пришел в голову нелепый каприз. Взбалмошная девочка осталась в прошлом вместе с непосредственным ощущением только что свершившегося факта; посторонние люди су-

дили о прошлом сквозь призму настоящего, а в настоящем видели одинокую, несчастливо сложившуюся жизнь. Сама Люси вполне отдавала себе отчет в том, что и это людское мнение ничуть не более долговечно, чем прежнее, исполненное презрения и неприязни к ней; ее история еще не успела превратиться в миф и не обретет неизменности, пока не завершится ее собственная жизнь и не отразится в холодном свете времени. Кто бы и что бы там о ней ни говорил, ее это не слишком занимало.

Она занялась вышивкой и, едва начав, обнаружила, что у нее к этому делу врожденный дар. Шелк и лен, по которым она вышивала, приходили по почте из дублинского магазина под названием «Анкринз», который специализировался на народных ремеслах. Их каталог, заказанный когда-то матерью, случайно попался ей под руку, забытый между страниц «Ирландского драгуна». На площадке первого этажа, меж двух высоких окон, до сих пор висел забранный в рамку индюк, вышитый по бледно-серому полотну, — она смутно помнила, как мать работала над этой картинкой.

— Глаза у нее от этого болели, — сказала Бриджит. — Вот, индюка доделала и совсем перестала

вышивать.

«Анкринз» присылал ткани с уже нанесенным рисунком для вышивки, но Люси предпочитала не следовать такого рода указаниям. Темой ее первой вышивки стало грушевое дерево во дворе, второй — камни на переправе через ручей, которые когда-то они уложили вместе с отцом, третьей — буйно разросшиеся на прибрежном обрыве полевые гвоздики. Со временем, думала она, дело дойдет и до лачуги Падди Линдона, успевшей к этому времени окончательно развалиться.

— Бог ты мой, вот это да! — искренне восхитился мистер Салливан, когда впервые увидел ее работу. — Ну и ну!

Недавно он оставил юридическую практику и удалился на покой, а поскольку бензин теперь снова появился в продаже, возобновились и его визиты в Лахардан. Каноник Кросби — которому теперь было уже под девяносто, — не оставлял своей церковной деятельности, но выезжать перестал, ограничившись перепиской.

Мистер Салливан тоже вспомнил, как Хелоиз Голт вышивала пятнистые перышки индюка, алую шапочку и раздутое горло. Но воспоминания свои оставил при себе, поскольку специально устроенная ради него на большом обеденном

столе выставка — грушевое дерево совсем готово, камушки на переправе только-только начаты — очень много значила для самой Люси. Если бы история с Ральфом имела какое-то продолжение — а с Ральфом он, естественно, познакомился на улицах Иннисслы примерно так же, как до него это сделал каноник Кросби, — мистер Салливан, глядишь, и перестал бы считать Люси ребенком. Но на его сторонний глаз, и сам Лахардан, и поселившееся в нем маленькое семейство словно застыли в разыгранном много лет назад драматическом сюжете. И сама Люси тоже осталась там — маленькой фигуркой на одной из ее же собственных вышивок.

— Надо бы вставить их в рамки, — сказал он, снимая очки, сквозь которые рассматривал прихотливое плетение нитей.

— Да нет, это я просто так, от нечего делать.

— Да нет, что ты, прекрасные работы!

— Ну, в общем, конечно, ничего получилось.

— Теперь, когда Чрезвычайщина кончилась, все стало много проще. В магазинах снова появилось что купить. Если тебе, Люси, когда-нибудь захочется съездить в Иннисслу, ты только дай знать.

Резиновые сапоги, в которых она ходила гу-

лять под дождем, попали к ней из магазина в Килоране. Изредка из Иниселы присылали пару туфель на пробу: можно купить, можно отказаться. Когда оставшиеся от матери белые платья износились, килоранский портной стал шить ей точно такие же. А еще в деревню наезжал парикмахер и стриг ей волосы.

— Да мне и в Килоране всего хватает, — сказала она. Алоизиусу Салливану она очень напоминала мать, настолько, что иногда ему становилось не по себе; и не только потому, что она носила мамины платья. Время от времени самый тон ее голоса бывал на удивление похож на интонации Хелоиз Голт; складывалось такое впечатление, что когда-то давно, в раннем детстве, она успела стать совсем как мать, англичанкой насквозь, и с тех пор никогда об этой своей сути не забывала, — ударение на тех или иных слогах, построение фразы. «Скорее всего, мне это просто кажется», — говорил сам себе мистер Салливан в машине на обратном пути из Лахардана. Но на следующий раз, стоило ему закрыть глаза и прислушаться, все повторялось опять: он слышал голос капитановой жены.

— Прошу вас, возьмите ее себе. — Стоило ему еще раз восхититься вышивкой, и отказаться от

подарка было уже никак невозможно: он увез с собой ту, самую первую, с грушевым деревом во дворе.

Он забрал холст в раму, а когда была закончена следующая вышивка, взял ее с собой в Инниселу, чтобы подобрать рамку и к ней, и вернул при следующем визите в Лахардан.

В четверг, десятого марта 1949 года, он прочел в «Айриш таймс» объявление — и Люси тоже его прочла — о том, что Ральф женится.

Четыре

1

Капитану не сиделось в Беллинцоне, и он отправился путешествовать. Зная, что ничего, кроме боли, это ему не принесет, он не стал перебираться после войны обратно в Монтемарморео, как они планировали вместе с Хелоиз. По той же причине он избегал городов, в которых они с женой успели побывать. К концу первого года вдовства он вместо этого переехал во Францию, избавившись перед отъездом из Беллинцоны от всего имущества, поскольку возвращаться не собирался: ностальгия достала его и здесь. До Бандоля он добрался как раз к тому времени, как задул мистраль, и снял комнату с видом на море.

Когда прошла весна, а за ней лето, он двинулся дальше, в Баланс и Клермон-Ферран, в Орлеан и Нанси. Он оказался вдруг посреди ландшафта, наполовину ему знакомого, он ехал через города и деревни, названия которых отдавались знакомым эхом. Во время предпоследней войны он проходил со своей ротой через Марикур. Он вспомнил, как ночью они вышли из посадок, тянувшихся вдоль железнодорожной насыпи, вспомнил пустой фермерский дом, в котором

хлеб на кухне еще не успел зачерстветь, а на плите в кастрюле стояло молоко. Они переночевали на ферме, кто в амбаре, а кто в самом доме, а утром, едва занялась заря, двинулись дальше.

Мальчишкой Эверард Голт представлял себе войну, придумывал и примерял на себя ее опасности и тяготы, его манили суровые законы и традиции армейской жизни, его вдохновляли истории о крестовых походах. Регулярные — и всегда внезапные — приезды отца добавляли к этим детским грезам привкус реальности; когда сияние его начищенных сапог, его широкий кожаный ремень, грубая, пропахшая табаком ткань мундира, его негромкий, но звучный голос вдруг снова заявляли свои права на гостиную и на яблоневый сад. Атмосфера доблести и чести, связанная с профессией и образом отца, с героями книжек по истории, всегда влекла Эверарда. Позже он никак не мог разобраться — да так и не смог в конечном счете, — имеет ли он право связывать понятие чести с собственной личностью и судьбой; и как в этом смысле воспринимают его другие люди. Это слово не входило в привычный лексикон его жены, а сам он никогда даже и не пытался спросить ее об этом или признаться, что качество это ценит выше многих прочих и что в

его случае оно в немалой мере повлияло на выбор жизненного призвания. Они вообще слишком многое, казалось теперь капитану, не успели друг другу сказать. Любовь учит инстинктивно понимать друг друга, а инстинкт склонен вечно искать кратчайший путь, экономить на словах и фразах, потому-то они и были так беспечны, так невнимательны к словам.

Именно об этом он и думал, заново приезжая в те места, где когда-то для него прошла война. Тяжело ступая по земле, напитанной кровью его бойцов, чьи лица опять начали всплывать в его памяти, он задавал себе один и тот же вопрос: почему в результате столь долгого пути он снова оказался на полях давно канувших в лету сражений, — и в конце концов услышал ответ, произнесенный голосом жены, как будто в качестве компенсации за недосказанное: на шестьдесят девятом году жизни ты наконец решил утвердиться в статусе выжившего. Он кивнул, подтвердив для себя истинность сказанного: все правильно, все встало на свои места, и, во всяком случае, выжить — тоже немало значит, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Он в гораздо меньшей степени был солдатом, чем его отец, наверняка чувствовал страх гораздо

чаще, чем тот, и гораздо реже испытывал приливы храбрости. Какую все-таки недобрую шутку выкинула с отцом судьба, не дав ему умереть на доблестной авансцене сражения; смерть вползла в него сквозь цепкие усики недуга, мирная, домашняя смерть, подобающая женщинам и детям. Эверарду было тогда двадцать лет, он стоял рядом с братом на маленьком кладбище в Килоране, пока в землю, один за другим, опускали три гроба. Именно брат через несколько лет и привез в Лахардан Хелоиз, свою невесту. «Пожалуйста, напиши ему обо всем», — попросила она, когда они в первый раз решили уехать из Ирландии, и он пообещал, что непременно напишет. Но потом все пошло вверх дном, и было не до писем, а позже, в Монтемарморео, он снова и снова откладывал необходимость написать письмо, опасаясь, что оно повлечет за собой ответ — все равно, из Индии или из Ирландии, который придется от нее скрывать. Но теперь, конечно, все стало совсем по-другому.

На следующий день он отправился дальше, в Париж. Когда он шел через Площадь Согласия, его остановила женщина и спросила, который час. Не слишком надеясь на свой французский, он просто вынул из жилетного кармашка часы

и показал ей циферблат. Она улыбчиво полюбовалась часами, потом жилетом, а затем завела разговор по-английски. Ей доводилось бывать в Фолкстоне; ей доводилось бывать в Лондоне; какое-то время она жила в Джерардс-Кросс; а по профессии она *couturiure.*

— Мадам Васейль, — сказала она, протянув ему ухоженную руку.

Они пошли в кафе, где мадам Васейль пила абсент.

– *Vous êtes triste,* — прошептала она, на секунду пригасив мгновенно вспыхивающую улыбку. — У вас какое-то горе, мсье.

Предложение было утвердительным, хотя в интонации звучал вопрос, и он покачал головой, не желая делить свою скорбь с незнакомым человеком. Вместо этого он стал говорить о войне и о том, что пережил в ее стране в те давние времена, и мадам Васейль игриво бросилась уверять его, что не может этого быть, что он слишком молод, чтобы действительно быть участником той войны. Она дружески положила ему руку на рукав пальто, так, словно была уверена, что ощутит сквозь ткань бицепс молодого мужчины.

Капитан пошел с мадам Васейль к ней на квартиру, под самой крышей в угловом доме, над

булочной. Но когда настал тот самый миг, которого, собственно, и ждала *couturiure,* он извинился и покачал головой. Тяжкое бремя одиночества оказалось не так-то легко скинуть с плеч, а час, проведенный в обществе мадам Васейль, был не лишен приятства. И он был крайне огорчен тем, что ему пришлось уйти, причем весьма поспешно.

– *Cochon!*[31] — крикнула она ему вслед, опасно перегнувшись через перила.

В тот же вечер капитан написал брату. Он тщательно придерживался фактов, сочтя, что брат в курсе ирландской составляющей событий, поскольку его наверняка уже успели обо всем известить.

> Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нас двоих увидел в нынешней Ирландии хоть что-то знакомое. Не знаю, успел ли ты за это время побывать там снова; если успел, то наверняка знаешь о ней – и о Лахардане – много больше моего. Кто-то назвал ее страной развалин, что ж, развалин там становится все больше и больше.

---

[31] Примечания: 31
Свинья! (фр.)

Он вкратце коснулся собственных чувств и чувств Хелоиз по поводу ночных событий. Он написал о годах, проведенных в Италии, о Швейцарии, о лишениях военного времени и — о смерти Хелоиз. Ни о каких обидах в связи с тем, что Хелоиз когда-то не смогла надолго разделить чувства брата, в семье и речи не было, были обманутые надежды: винить некого и незачем, нечего и зла держать. *Ну, вот тебе мой полный отчет,* закончил капитан свое послание. *А как твои дела?*

Отправлять письмо было некуда; сколько-нибудь свежего адреса полевой почты, который гарантировал бы доставку по назначению, капитан не знал. Он сунул письмо в чемодан, решив при первой же возможности навести справки о том, что стало с полком после того, как Индия получила независимость. Через месяц он отправился в дальнюю дорогу, в Вену, притом, что единственной причиной этого визита была застарелая мечта когда-нибудь собственными глазами увидеть все ее великолепие. Но увидел он полуразрушенный город, чьи роскошные здания смутными призраками высились среди руин, чья не менее призрачная ночная жизнь была изрядно пообносившейся и насквозь растленной.

Надолго он задерживаться не стал.

Война высосала из Европы всю жизнь: печальные свидетельства тому были видны повсюду. Слишком много смерти, слишком много предательств, слишком высокая цена за то, чтобы нанести поражение взбесившейся алчности. Он подумал об Ирландии, чьи силы были подорваны долгими веками раздоров и смут, и к нему вернулось чувство, которое он испытал в самом начале своего изгнания, — что он платит по счету за те прегрешения прошлого, в которых его семья принимала участие. Не алчность ли была причиной тому, что Голты так долго цеплялись за свою землю? Когда парламент принимал карательные законы[32], в Лахардане устраивались шумные празднества, в церкви возносились молитвы за короля и Империю и до нужд обездоленного большинства никому не было дела. Может быть, на эти нужды нашелся наконец адекватный ответ? Может быть, за время его отсутствия Ирландия успела прийти в себя, как начинает понемногу приходить в себя Европа?

---

[32] Примечания: 32

Речь, вероятнее всего, идет о принятии британским парламентом весьма жесткого закона об усилении борьбы с терроризмом в Ирландии. Законопроект был внесен в палату общин правительством лорда Солсбери в марте 1887 года.

В Брюгге он остановился в пансионе возле Грёнингсмузеума. Хелоиз доводилось бывать в этом городе, она рассказывала ему про здешние дома из кирпича и серого камня, про золоченые скульптуры, про целые выставки шоколада в витринах кондитерских, про здешние кафе и двухколесные коляски с четырьмя сиденьями. Она рассказывала про чайную, которая с тех пор успела закрыться, про табличку на монастырском лугу с просьбой не фотографировать монахинь. «Господи, как же мне понравился этот славный городок!» Ее голос плыл над медленными мыслями капитана, впрочем, как обычно, и когда чуть позже, в Тенте, он смотрел снизу вверх на «Поклонение агнцу», ему легко было представить ее на своем собственном месте, с головой ушедшей в точно такой же благоговейный трепет, в который сейчас погрузился он сам.

— Вы англичанин? — спросили его в пансионе, и на секунду он заколебался, не зная, что ответить на этот вопрос. Потом покачал головой.

— Нет, я ирландец.

— Ах, ирландец! Что за прекрасная страна — Ирландия!

Энтузиастка оказалась англичанкой, лет на двадцать моложе, чем он, совсем не похожей

на ту женщину, которая приставала к нему в Париже. Про себя он удивился: неужели путешествующие пожилые мужчины всегда и везде служат предметом столь повышенного интереса, но, несмотря на то что ему это понравилось, вел он себя куда осторожнее, чем на площади Согласия. Он и раньше ее замечал, в столовой, и за столиком с ней сидела еще одна женщина, которую он принял за ее мать и, как выяснилось позже, не ошибся.

— Да, страна действительно красивая.

— Я всего один раз была в Ирландии, но забыть ее не могу до сих пор.

— Я и сам очень давно там не был. Скоро тридцать лет как.

Женщина кивнула без тени удивления на лице. Светловолосая, когда-то она была хорошенькой, теперь слегка увяла, но выглядела очень мило. Обручального кольца у нее на пальце не было.

— Надеюсь, я не обидела вас, — извинилась она, — приняв за англичанина.

— Моя жена была англичанкой.

Он улыбнулся, чтобы скрыть всю тяжесть утраты: какими бы искренними ни были соболезнования и каким бы сочувственным шепотом ни произносились, банальность она и есть баналь-

ность. От всех этих разъездов, вопреки надеждам, на душе у него не стало легче, и ему уже начало казаться, что к скорби своей он приговорен навечно и, более того, на самом-то деле и не хотел с ней расстаться. Хелоиз, самая непритязательная из жен, после смерти предъявила к нему такие жесткие требования, которым даже он порой с большим трудом мог соответствовать.

— Моя страна по отношению к Ирландии вела себя просто по-свински, — сказала женщина. — Я всегда так считала.

— Ну, теперь это все в прошлом.

— Да, все в прошлом.

В голосе у нее тоже прозвучало чувство утраты, скорбь по несостоявшейся свадьбе, которую украла война; он почувствовал, что между ними не случайно возникло нечто общее и что она тоже это почувствовала. Они, никуда не торопясь, проговорили всю вторую половину дня — о Брюгге и о городах, так или иначе на Брюгге похожих, снова об Ирландии, потом об Англии. Они провели вместе полдня, по-прежнему держась на расстоянии, и каждый сохранил территорию личных чувств в неприкосновенности. Капитану так и не удалось познакомиться с ее матерью, а на следующий день они уехали.

Через несколько недель уехал и капитан. Он перебрался из Кале в Дувр[33], а потом грохочущий и дребезжащий на ходу поезд через Кент привез его в Лондон. Там он навел справки о соответствующей воинской части и выяснил, что с тех пор, как его брат был убит в бою, прошли годы и годы. Капитана захлестнуло чувство одиночества, сильнее, чем когда-либо, он почувствовал себя единственным выжившим, и в тусклой послевоенной столице, где победа воспринималась скорее как плохо скрытое поражение, мало что могло вдохнуть в него радость жизни. Подавленность сквозила во всем, в каждом лице, в каждом жесте; одни только уличные спекулянты и легионы надушенных чем-то приторным шлюх ничуть не собирались предаваться общему унынию.

[33] Примечания: 33
Т.е. через Ла-Манш.

2

Утро выдалось роскошное, яркое мартовское солнышко грело Люси лицо и руки. Трава на берегу ручья была такой короткой, как если бы ее как следует подстригли овцы, вот только овец здесь отродясь никто не пас. Удивительное дело, здешняя трава, пружинистая и плотная, как ковер, оставалась зеленой даже в самую жестокую летнюю засуху и, казалось, совсем не росла. Люси лежала на ней, скинув туфли, и глядела в небо, и книжка, которую она принесла с собой, покоилась с ней рядом, раскрытая, обложкой вверх. Она совсем не думала ни о ней, ни о населяющих ее церквях и людях, ни о миссис Прауди, ни о мистере Хар-инге, ни о солнце на колокольне[34]. «Вы мне напишете и все расскажете?» — просила его она, но теперь ей было ясно, что просила она слишком многого: естественно, Ральф не стал ей писать о том, что представляет из себя женщина, на которой он женился. Может, забыл, может, постеснялся; да, собственно, какая разница, что бы от этого изменилось. Лицо, которое являлось Лю-

[34] Примечания: 34
Люси читает роман Энтони Троллопа «Барчестерские башни».

си в грезах, было миловидным и смышленым, и манеры у его обладательницы были соответствующими. В увитом вьюнками доме у лесопилки отворялось окно, и уверенная рука срезала лишние побеги: наклонность к порядку тоже входила в число обязательных качеств. Когда умолкали пилы, муж и жена отправлялись на прогулку, подышать благоуханным вечерним воздухом, через мост, мимо распивочного и торгового заведения Логана. «Как здесь покойно!» — роняла фразу счастливая супруга Ральфа.

Люси села и протянула руку за книгой: на красной обложке остались следы капель от не вовремя припустившего как-то раз дождя. Год назад Алоизиус Салливан купил на аукционе три книжных лота, и всю эту кипу привез в Лахардан в подарок, поскольку знал, сколько радости доставляет ей чтение романов. На форзаце темными чернилами было написано *Альфред М. Бил,* и Люси уже успела поразмышлять о том, кем мог оказаться этот человек. *Монкстоуи Лодж, 1858.* Из всех знакомых ей людей к 1858 году успел родиться только каноник Кросби; она долго перебирала имена и лица, но так больше никого придумать и не смогла. Она с нежностью вспомнила о старом священнике, он так всегда о ней

пекся, и Ральф рассказывал, как тот подошел к нему на церковном кладбище и как трогательно о ней говорил. Канонику Кросби между тем шел уже девяностый год от роду.

Мистеру Хардингу еще ни разу в жизни не приходилось так туго. Вернувшись наконец к своему роману, она стала читать, и увлеклась, и на десять минут забыла о Ральфе, о его новой семье и о его жене.

* * *

Он приехал на автомобиле и за всю дорогу не сказал водителю ни единого слова. Он попросил отвезти его в Килоран, оставшийся путь он пройдет пешком: так ему захотелось. За те сорок минут, которые заняла дорога, водитель дважды попытался завести разговор; потом замолчал.

В Килоране память проснулась сама собой. Он вспомнил женщину, которая обычно искала на мелководье у пристани съедобных моллюсков, и стал прикидывать, не ее ли дочь занимается сейчас на том же месте тем же самым промыслом. Судя по всему, именно так оно и было, поскольку на расстоянии сходство было разительным, или, по крайней мере, капитану так показалось. На песчаной отмели рыбаки чуть не каждый день

искали соскользнувшие с сетей зеленые стеклянные поплавки. Сегодня ни одного рыбака там не было.

Раз или два ему пришла в голову мысль, что дом сгорел дотла и он найдет одни только стены: те люди вернулись, и на сей раз их попытка увенчалась успехом. Когда уезжали Гувернеты, они продали дом местному фермеру, которому понадобились свинцовые желоба и отливы с крыши; тот снял сланцевую плитку, выломал дымоходы из каминов, а остальное бросил как есть. Айре Мэнор спалили до основания, и Свифты какое-то время жили в Лахардане, пока не решили, что делать дальше. Поговаривали, что бывший Рингвилл, вернее, то, что от него осталось, переоборудовали под католическую семинарию.

Капитан остановился, припомнив процессию, шедшую когда-то через поле, до которого он как раз добрался: отец впереди торжественно несет корзину для пикников, рядом мама с ковриками и скатертью, сестра несет купальные костюмы, пледы и полотенца на всех, им с братом доверили только деревянные лопатки. Потом вдалеке показалась Нелли, бежит бегом, догоняет, что-то кричит, пронзительно, в ослепительном свете солнца, подхватив передник и подол длинного

черного платья, и ленточки от шляпки пляшут по ветру у нее за спиной.

На секунду Эверарду Голту показалось, что он снова ребенок. Ему почудилось, что на оконном стекле блеснуло солнце, хотя он прекрасно знал: этого быть не может, потому что окна заколочены. На ходу он пересчитал стадо, оставленное им когда-то Хенри: выросло вдвое. Одна корова оказалась любопытной и неторопливо пошла в его сторону, вытянув морду, принюхиваясь. Остальные лениво последовали за ней. На О'Рейлевом поле за пастбищем росла кормовая свекла.

Солнце еще раз блеснуло на оконном стекле. Подойдя поближе, он заметил, как полощется по ветру занавеска. «Вы забыли парасоль! — кричала в тот день Нелли, размахивая зонтиком над головой. — Вы парасольку забыли, мэм!»

Как-то раз в «Coriere della Sera» он прочел заметку об эпидемии скота в Ирландии и забеспокоился, не пострадает ли стадо. «А стадо в Лахардане пусть маленькое, но свое», — говорил отец, гордо показывая коров какому-то заезжему человеку. Теперь было видно, что во всем доме нет ни единого заколоченного окна.

Теряясь в догадках, он прошел сквозь крашеную белой краской калитку в ограде, которая

отделяла поля от усыпанной гравием площадки перед домом. И еще раз на секунду остановился как вкопанный, зацепившись взглядом за глубокий синий цвет гортензий. А потом медленно пошел к открытой парадной двери.

* * *

Во дворе Хенри снял с прицепа фляги и откатил их по булыжнику в сторону. В молочной он включил воду, наполнил каждую флягу в край, а потом повесил шланг обратно на колышки. Он бы это и во сне мог делать, говорил он Люси давным-давно, когда она была совсем маленькая, а она покатывалась со смеху, представив себе, как бы он при этом выглядел. «Люси, Люси, дай ответ!» — пел он ей, и она снова принималась хохотать во все горло.

Бриджит позвала его по имени, и он отозвался, сказав, что занят в молочной. Могла бы и сама догадаться, видит же, что и пикап, и прицеп по-прежнему во дворе. Интересно, подумал он, почему она все равно его позвала, зная, где он и чем занят.

— Бросай все! — крикнула она, и по ее голосу он понял: что-то не так. — Бросай там все и иди сюда.

Овчарки, взбудораженные грохотом фляг, снова устраивались в тени грушевого дерева. Еще несколько недель, и необходимость в ежедневных поездках на маслобойню отпадет: молочная цистерна будет приезжать прямо к сторожке. Около года назад он соорудил там платформу в полном соответствии со всеми требованиями.

— Хенри! Идешь ты или нет! — снова раздался крик Бриджит, но из задней двери она не выглянула.

Когда Хенри зашел на собачью дорожку, он услышал в доме мужской голос, но такой тихий, что слов было не разобрать.

— Слава тебе господи! — прошептала Бриджит, когда он вошел в кухню.

Она сидела за столом, и лицо у нее было — хоть прикуривай, так густо она краснела давным-давно, когда ходила в девушках. Кончики пальцев у нее сами собой тянулись к губам, она то и дело отнимала их, но они тут же снова оказывались возле рта.

— Слава тебе господи! — шептала она опять и опять.

Хенри понял все, даже не успев разглядеть сидящего перед ней человека, а потом удивлялся, как только у него сразу нашлись слова, почему

он, прямо с порога, смог спросить:

— Ты ему сказала?

— Она сказала мне, Хенри, — отозвался капитан.

Он явно не только что сюда вошел. На столе был чай, Бриджит свой даже не пригубила, а перед капитаном стояла пустая чашка. Хенри подошел к плите, взял чайник и налил капитану еще.

* * *

Домой Люси возвращалась через пляж и шла почти по самой кромке воды, совсем как отец, но только вышла она с другой стороны. Но ее следы, в отличие от его следов, на песке остались, потому что начался отлив. Она свернула к скалам, неся в каждой руке по туфле, постояла просто так на влажном песке. Потом села, когда он подсох и затвердел. *Можно сказать,* прочла она, *что общей фамильной чертой Стэнхоупов была бессердечность; но этот недостаток живого чувства в большинстве из них уравновешивался таким запасом добродушия, что мир его, считай, и вовсе не замечал.*

На секунду она потерялась, забыв, кто такие эти Стэнхоупы, но потом вспомнила во всех деталях: глупость какая, подумала она, это все равно, что

забыть, что мистер Хардинг — регент хора, а мистер Слоуп — капеллан при епископе Прауди. Она перечла весь длинный абзац заново, но смысл прочитанного снова от нее ускользнул. «Как же мне повезло!» — тихо сказала жена Ральфа, когда они повернули назад к дому.

* * *

В каждой из верхних комнат капитан первым делом подходил к окну, чтобы выглянуть наружу. Он увидел, как дочь идет через пастбище, и в минутном замешательстве принял ее за жену.

Когда она вошла в прихожую и он посмотрел на нее сверху с лестничного разворота, искушение увидеть на ее месте ту, другую женщину, снова оказалось неодолимым. У нее была странная походка, она всякий раз как будто чуть-чуть медлила перед шагом; и тут до него дошло, что она хромает. Лицом она была вылитая мать.

— Вы кто? — спросила она, и голос был тоже материн.

Эверард Голт на мгновение чуть было не потерял равновесие; он протянул руку, положил ее на перила и начал медленно спускаться по лестнице вниз. От всего, что он услышал на кухне, и, едва ли не сразу после этого, от свидания с дочерью он

вдруг почувствовал страшную слабость.

— Ты не узнаешь меня?

— Нет.

— Люси, посмотри на меня повнимательней, — сказал капитан, добравшись до последней ступеньки.

— Что вам угодно? Почему я должна вас узнать?

Они посмотрели друг другу в глаза. Скулы у нее стали вдруг совершенно белыми, такого же цвета, как платье, и тут он понял, что она его наконец действительно узнала. Она не произнесла ни звука, и он остался стоять, где стоял, даже не пытаясь подойти к ней ближе.

* * *

Услышав, как капитан вышагивает по дому, Бриджит перекрестилась, чтобы оградить себя от неведомой угрозы. Потом перекрестилась еще раз, увидев возле серванта в столовой незнакомого человека. Потом еще раз, на кухне, призывая силы небесные.

— Я поначалу его даже и не узнала, — сказала она. — Он, конечно, совсем стал кожа да кости, но дело даже не в этом.

— Да нет, не очень-то он и изменился.

— Бедняга чуть умом не тронулся, когда я ему сказала.

— Как бы она сама умом не тронулась.

— Что теперь будет, а, Хенри?

Хенри покачал головой. И стал слушать, как так вышло, что капитан вернулся один.

* * *

Он хотел обнять дочь, но не стал, почувствовав в ней что-то, что ему противилось.

— Почему именно теперь?

Он едва расслышал сказанную вполшепота фразу, которая явно не предназначалась для него. А потом, словно пожалев о сказанном, Люси назвала его папой.

3

В деревне Килоран и в городе Иннисела люди только и думали о том, как бы хоть одним глазком взглянуть на капитана Голта. Этой возможности ждали с тем же нетерпением, с каким ждут первого выхода на сцену одного из главных действующих лиц, которое не появлялось в первых актах драмы. Ему хотелось всего лишь — он сам сказал об этом некоторое время спустя — пройтись по темным комнатам своего родного дома, а потом уехать. А вместо этого он нашел дочь, живую.

В самом Лахардане, в отличие от всего остального мира, события, происшедшие с той ночи, когда он смотрел сквозь винтовочный прицел из окна во втором этаже на три темные фигуры внизу, так и не успели стать частью общей хроники. Их так и не сумели аккуратно сложить вместе, для удобства пересказа; ни порядка, ни общего смысла в них не было с самого начала, такими они и остались в людской памяти. И даже потрясение, вызванное приездом капитана и новостью о его вдовстве, не подвело под ними вполне логической, казалось бы, черты. В воздухе

Лахардана по-прежнему витали смятение и, если принюхаться, запахи капитановых сигарок и виски, которое он откупоривал бутылку за бутылкой. Бриджит и Хенри обратили внимание на то, что голос у него с годами стал более низким. Его шаги на лестнице были не то чтобы шагами незнакомца, но близко к тому; когда в саду на веревке сушились его сорочки, они казались на удивление неуместными.

Капитан и сам постоянно пребывал в состоянии замешательства, а изредка и вовсе ловил себя на том, что не верит в происходящее. А может быть, он просто спит и видит какой-то удивительно длинный сон об ожившей дочери; его прежние представления о ситуации в доме и вокруг него были куда более достоверными, чем то, что он видел воочию. В присутствии дочери ему всякий раз хотелось взять ее за руку, хотелось, чтобы она опять превратилась в маленькую девочку, как если бы это прикосновение могло каким-то образом вернуть ему все, что он потерял. Но всякий раз он себя одергивал.

— Лахардан твой, — настаивал он, в очередной раз подавив в себе желание взять ее за руку, и чувствовал себя очень неловко, но паузы получались еще более неловкими, и нужно было сказать

хоть что-то. — Я здесь у тебя в гостях.

Она принималась шумно возражать, но то были слова, не более. По крайней мере, он мог дать ей почувствовать, что ей простили ту давнюю детскую глупость, и не только от своего лица, но и от лица ее покойной матери. Неужели они не простили бы собственную дочь за этакий детский проступок, о чем тут говорить, и часа бы не прошло, как вся эта история канула бы в прошлое: он сказал ей об этом просто и прямо. А вот сами они действительно виноваты, что столько времени упрямо не желали обращать внимание на вполне понятные детские страхи.

Но сколько бы капитан ни каялся, он не мог не чувствовать, что сказанного все равно мало. Долгие годы самобичевания не прошли для дочери даром: они и сами по себе были — немалая тяжесть и легли ей на душу как холодный туман. По крайней мере, так ему казалось.

Они сидели вдвоем, разделенные длинным обеденным столом, ибо именно здесь по большей части им и случалось поговорить друг с другом, хотя примерно в половине случаев они и за столом умудрялись не обменяться ни словом. Всякий раз капитан обращал внимание на то, как тонкий указательный палец дочери вычерчивает на

полированном красном дереве какие-то узоры, которые по одним только движениям пальца он разобрать не мог. Когда молчание становилось совсем уж неприличным, она порой рассказывала ему о том, что сделала за день, или о том, что собирается сделать, если до вечера было еще далеко. Нужно было вынимать из ульев соты, а еще она выращивала цветы.

* * *

Со временем новости дошли и до Ральфа.

Со дня его свадьбы прошло уже больше года, но, случись она вчера, разницы не было бы ровным счетом никакой. Жену его она представляла себе не совсем верно: та была высокой и кареглазой, с туго зачесанными назад темными волосами, и как раз сейчас, после первых родов, начала обретать привычную стройность фигуры. Случилось так, что она действительно была неглупа и наклонна к порядку: молодые побеги и в самом деле строжайшим образом выстригались, чтобы не застить свет в окнах заросшего вьюнками дома, который после свадьбы целиком отошел к Ральфу: родители давно уже поняли, что старый дом великоват для его постоянно хворающей матери, выстроили рядом небольшой одноэтажный

домик с верандой и теперь окончательно туда перебрались.

Ральф узнал о возвращении капитана Голта в понедельник утром, ближе к полудню. Несколько лет назад он выяснил, что водитель одного из грузовиков, которые заезжали на лесопилку за грузом строительного леса, родом из Килорана и переписывается со своими тамошними сестрами. Килоран был общей темой, и Ральф часто переводил разговор на дом над обрывом, хотя о собственной связи с этим домом не упомянул ни разу. Стоило речи зайти о чем-то, касающемся Люси Голт, на него всякий раз нападала странная тяга к скрытности. Он хранил эту тайну все шесть лет, проведенные в армии, ни разу не проговорившись о том, что к тому времени казалось неизбежным: что они с Люси Голт никогда не поженятся. Найдя себе вместо нее другую женщину, он и с ней ни слова не сказал о Люси или о том времени, которое когда-то провел в Лахардане, — обстоятельство, которое никоим образом не означало отсутствия любви в этом браке или того, что Ральф просто согласился на замену оптимального варианта другим, следующим по качеству.

— А вы уверены? — переспросил он водителя грузовика, и тон у него был совершенно спокой-

ный.

— Да что вы, сэр, никаких сомнений быть не может.

Водитель говорил правду. Он говорил об этом так уверенно, что Ральфу захотелось закрыть глаза или отвернуться, и он почувствовал, как что-то внутри у него оборвалось, в области сердца, как ему показалось. Но сердце продолжало биться, он физически это почувствовал, и куда сильнее, чем когда-либо раньше. Во рту у него ни с того ни с сего пересохло, как будто он только что отведал чего-то терпкого, вяжущего. Водителю грузовика пришлось кричать, когда заработала следующая пила, и перекрикивать визг медленно обозначающихся березовых досок.

— Да уже и не вчера все это было, сэр.

Они вышли наружу.

— А миссис Голт?

— А миссис Голт, говорят, померла.

Ральф отдал водителю заранее выписанный счет-фактуру. Потом помог грузовику выбраться задним ходом с грузового двора на дорогу. По-прежнему разыгрывая полное спокойствие, он помахал ему рукой и пошел абы куда, чтобы побыть одному.

* * *

Узнав о том, что капитан вернулся, мистер Салливан почувствовал некоторое замешательство. С его точки зрения, Эверард Голт был простой человек, попавший в непростую ситуацию, которая теперь стала еще сложнее прежнего: Алоизиус Салливан не знал, радоваться ему или ждать очередных неприятностей.

— Ну что, Эверард, узнал Инниселу? — спросил он вместо приветствия, когда они все-таки встретились, по предварительной договоренности, в заднем баре «Сентрал-отеля».

Он счел за лучшее сразу придать разговору нужное русло: им с Эверардом Голтом и раньше приходилось подолгу беседовать о пустяках.

— Мог ли ты предположить, что мы наладим здесь, в Инниселе, производство макинтошей?

— А наладили?

— Еще как! И вообще, от старой Инниселы теперь мало что осталось.

На это капитан Голт и сам уже успел обратить внимание. Не стало нескольких пансионов, которые он прекрасно помнил, магазины вдоль главной улицы тоже стали другими. Вокзал совсем захирел, а двери Гатчеллова зала для

аукционов стояли запертыми на замок и, как ему сказали, открываться зал не собирается. Те магазины, которые сохранили прежний внешний вид, оказывались совсем чужими, стоило только переступить порог, и за стойками сплошь стояли незнакомые люди.

— Чего, собственно, и следовало ожидать, — резюмировал он свои утренние наблюдения здесь, за столиком в «Сентрал-отеле». — Ирландия стала совсем другой страной.

— Более или менее.

— Я должен извиниться, что не предложил встретиться раньше. На то, чтоб обустроиться, тоже понадобилось время.

— А иначе и быть не могло.

Они были единственными посетителями в этом маленьком баре, где, если сам не позовешь, никто тебя и не обслужит. Капитан встал, взял оба стакана и подошел к деревянной стойке.

— Повторите, — сказал он, когда откуда-то из гостиничных глубин вынырнул косоглазый юноша.

Они пили виски, «Джон Джеймисон».

— Нам не следовало уезжать, — сказал он, вернувшись к столику. — Если бы мы как следует обыскали лес и нашли ее, никуда бы мы не по-

ехали.

— Лучше не думать об этом, Эверард.

— Да, конечно, я и сам знаю. — Он поднял стакан, а когда пауза затянулась, сказал то, что никак не решался произнести вслух в столовой Лахардана: — Хелоиз казалось, что девочка покончила с собой.

Разговор сам собой ушел глубже той безопасной поверхности, на которой предпочел бы остаться стряпчий. Он даже и не стал пытаться вывести его в прежнее русло, зная, что теперь обратного пути уже нет.

Капитан сказал:

— Она была элегантна во всем и умудрялась оставаться элегантной, насколько могла, даже притом, что этакая тяжесть лежала у нее на душе.

— Хелоиз по-другому и не смогла бы.

— Оттого-то она и была так прекрасна, во всем.

Алоизиус Салливан кивнул. Он сказал, что помнит, как в первый раз увидел Хелоиз Голт, а капитан продолжил, как если бы стряпчий заговорил о чем-то другом или вовсе не открывал рта:

— Ей нравились картины на тему о Благой вести. Ей нравилось рассуждать о том, почему

усомнился святой Фома. Или о том, мог ли ангел явиться Тобиасу в образе птицы. Или о том, как святой Симеон умудрился взобраться на свой столп. Мы с ней столько картин посмотрели, в деталях.

— Мне очень жаль, Эверард.

Как только разговор зашел об этой женщине, стряпчему вспомнился необычайно сосредоточенный взгляд девочки, которая с тех пор тоже успела стать женщиной. Он часто думал о том, что, должно быть, за всю свою жизнь эта женщина сознательно не причинила зла ни единой живой душе. И Алоизиус Салливан, который еще ни разу в жизни не пожалел о том, что не изведал таинств супружеской жизни, на секунду пожалел об этом.

— Ты был хорошим мужем, Эверард.

— Негодным я был мужем. Мы уехали из Лахардана, когда просто-напросто устали ждать. И я должен был воспротивиться этой безответственной поспешности.

— А я, в свою очередь, должен был сам отправиться на ваши поиски. Так можно всю жизнь перебирать варианты.

— Как ты считаешь, Люси следует знать о том, что я тебе сейчас сказал?

— Ей будет проще, если она об этом не узнает.

— Мне кажется, не стоит ей говорить.

— А я в этом просто уверен.

Они выпили. Разговор растекся, стал более живым и вольным, и им обоим стало проще. Потом, когда они вышли на променад и походка у обоих также стала несколько вольной, старая дружба вернулась к ним окончательно. Стряпчий — он был одиннадцатью годами старше капитана, но, как тому казалось, ничуть за эти годы не изменился — говорил по дороге о людях, которых когда-то знали они оба, о своем секретаре, о домохозяйке, у которой он прожил бог знает сколько лет. Глубже он в собственную личную жизнь вдаваться не стал, и из его слов, как и прежде, складывалось впечатление, что ее, как таковой, у него просто не было. Капитан говорил о своих путешествиях.

— У Хелоиз была фотография, снятая, должно быть, где-то здесь неподалеку, — сказал он вдруг, оборвавши сам себя на полуслове. — Такая пожелтевшая, немного надорванная и вся в трещинках. Она и сама, наверное, давно успела о ней забыть.

Он указал на то место, где променад надстроили после того, как однажды во время шторма волны стали захлестывать через парапет. Люси

стояла между старых опор, на которых когда-то держался волнолом; на фотографии он уходил далеко в море, а теперь от него осталось только несколько полусгнивших столбов. Надо бы этот волнолом восстановить, сказал Алоизиус Салливан, наверное, когда-нибудь городские власти именно так и сделают.

Они остановились возле скамейки, но садиться не стали. Капитан слушал про волнолом и смотрел в море, на далекую, до самого горизонта, панораму с оспинами белой морской пены. Местные новости были исчерпаны, и повисла пауза, а потом он сказал:

— Ты следил за тем, чтобы у нее всегда были деньги. Все эти годы.

— Она жила очень скромно.

— Люси практически не говорит со мной.

Он рассказал о той минуте, когда они встретились, о том, как пытался обнять ее и не смог, о долгом молчании за обедом, а пальчиком она все чертит и чертит какие-то узоры, и от его первоначальной эйфории в такие дни не остается и следа.

Мистер Салливан заколебался. Сильные чувства в принципе несовместимы с его положением и профессией, однако, в силу привязанности

разом и к отцу, и к дочери, именно это сейчас и было, пожалуй, нужнее всего.

— Люси могла выйти замуж. — Он помолчал, а потом добавил: — Но ей казалось, что она не имеет права любить, пока не почувствует, что ее простили. Она никогда не сомневалась в том, что ты сюда вернешься, даже когда мы все давно успели потерять надежду. И она была права.

— И давно это было? Я о том, что она могла выйти замуж?

— Давно. — Еще одна пауза, а затем: — Он с тех пор уже успел жениться.

Они двинулись дальше все тем же неспешным шагом, и Алоизиус Салливан сказал:

— Хорошо, что ты вернулся, Эверард.

— Как и во всем, что касается нашей семейной трагедии, самое главное в том, что я вернулся слишком поздно!

4

За двумя мужчинами на променаде уже давно наблюдали издалека.

Солдат, которого мучили видения, давно уже не был солдатом; когда срок его службы вышел, ему дали понять, что в его случае стоит подумать о дальнейшей военной карьере, но он предпочел выйти в отставку. На армию, хотя она и не оправдала его надежд, Хорахан зла не держал и до самого последнего дня продолжал исполнять свои обязанности с привычным рвением и привычной тщательностью, надраивал до блеска ботинки, полировал ременную пряжку и пуговицы на мундире. Когда пришел последний день, он скатал к голове матрац на узкой пружинной койке. В стенном шкафчике его ждал черный гражданский костюм.

В этом костюме он был и сейчас. Он временно был без работы и снимал комнату в доме неподалеку от того места, где когда-то вырос и где его мать жила до самой своей смерти. Услышав, что вернулся капитан Голт, он стал целыми днями бродить по городским улицам, надеясь на встречу. Сегодня он следил за ним с самого утра

и вот теперь стоял и смотрел, как два старика идут по променаду, и слезы закипали у него в глазах, сбегали по впалым щекам и затекали за воротник рубашки, но никак не слезы скорби, не слезы раскаяния. Теперь все ясно, и не может быть никакого сомнения. Дева наконец-то явила ему знак: по ее святому научению капитан Голт вернулся, чтобы положить его мучениям конец.

Трое проходящих мимо «христианских братьев» обратили внимание на бывшего солдата и на восторженное выражение его лица. Уже пройдя было мимо, они услышали, как он взрыдал в голос, и, обернувшись, увидели его стоящим на коленях. Они стояли и смотрели на него, пока он не встал, не сел на велосипед и не уехал.

5

— Они жили подаянием, — сказал Ральф в ответ на вопрос о монахах, по чьим могилам они как раз сейчас и шли. — Здешние августинцы всегда были нищими.

Не послышалась ли при этом у него в голосе нотка нетерпения? Некий знак, который он не смог замаскировать под усталость после долгого рабочего дня? Он улыбнулся жене: то была просьба извинить его, которой она попросту не поймет и не заметит. Воздух был тих и мягок, ни дуновения. Где-то ворковал голубь, вечер уже, а он все никак не успокоится.

Они поговорили о монахах, о том, все ли они были в равной мере привержены идеалу простой добродетели, исконному смыслу и цели их общей монастырской жизни. Интересно, спросила она, делает ли вера, подобная вере этих августинцев, людей похожими друг на друга? И действительно ли были они похожи друг на друга так же, как их одинаковые одеяния?

— Вряд ли. — И снова в голосе у него, кажется, звякнула нетерпимость, результат ничем не заслуженного раздражения, и снова ему стало

стыдно.

Он сказал как можно мягче:

— Здешние развалины — это всего лишь часть их бывшей церкви. А жилые помещения, должно быть, занимали все это поле, и даже больше — кельи, трапезная, а еще, вероятнее всего, у них был сад и рыбные пруды.

В самом углу поля стоял торчком одинокий отесанный камень неясного назначения. По низу у него шла резьба, поврежденная и совершенно неразборчивая. Может быть, когда-то здесь стоял большой каменный крест, но то место, где отломилась перекладина, давно уже успело заровняться, а кто-то вырезал внизу узор. Но наверняка никто и ничего не знал.

— Может, пойдем обратно? — предложил Ральф.

Ребенок спал. Сквозь открытое окно, как следует загороженное, они услышат, если он закричит. Они с минуту постояли и послушали, но вечерний воздух был тих.

— Да, пожалуй, пора домой.

Она никак не могла решиться выйти за него замуж, но он твердо гнул свою линию. Она говорила о своих сомнениях, он выслушивал ее, а потом смеялся над ее страхами, и этот смех был

искренним и добрым. Удерживала ее от столь решительного шага не скромность и не слабая вера в собственные силы, в способность справиться с тем, что ожидает ее впереди; скорее это было что-то вроде настороженности, причин которой она не знала, но отчего-то совсем не чувствовала ее излишней. И вот теперь Ральф вспомнил о ее тогдашних страхах, как если бы время нарочно дало себе срок, чтобы их смысл наконец-то стал внятен.

— Жаль, что все махнули на них рукой. — Она оглянулась на заросшие травой руины.

В самую жару сюда приходили с луга коровы, полежать в тени, и вытаптывали крапивную поросль. Ральфу показалось странным, что она сказала именно эту фразу, хотя, конечно, ничего странного в этом не было.

— Да, жаль, конечно.

Они перелезли через калитку верхом, потому что так было проще, чем возиться с ржавой щеколдой. Их велосипеды стояли у свежевыкрашенной бледно-голубой стены Логанова магазинчика, открытого по вечерам до тех пор, пока в распивочной задерживался хоть один человек.

Они поговорили о прошедшем дне, о том, что

нового говорят на лесопилке. Когда они только-только познакомились, он признался ей, что было такое время, когда он просто не мог себе представить, что всю оставшуюся жизнь будет торговать строительным лесом. Она часто вспоминала об этом, и вот сейчас, словно возникла необходимость в очередной раз ей ответить, он сказал:

— Все у меня сложилось так, как сложилось.

Она не поняла его, нахмурилась, а потом улыбнулась, когда он ей все объяснил. Они улыбнулись оба.

— И никем другим я быть не хочу, — сказал Ральф.

Слова родились легко; ему не пришлось смотреть в сторону, он даже смог взять ее за руку. В ее темно-карих глазах светилась любовь, благодаря которой их совместная жизнь была исполнена больших и малых радостей.

— Какой ты славный! — прошептала она.

На той стороне узкого мостика стоял родительский домик, и в воздухе витал запах табака. Седой и тучный, с трубкой, крепко зажатой в зубах ровно в середине рта, отец неторопливо поливал цветы. Он помахал им рукой, они помахали в ответ. «Я подумал, а вдруг вам это интересно»,

— сказал водитель грузовика.

То, что никогда раньше не казалось ложью, стало казаться ложью отныне и навсегда. Если он привык хранить свою тайну, если сто лет тому назад он проявил чудеса изворотливости, когда кто-то стал слишком дотошно интересоваться тем летом, которое он провел в Инниселе, то речь шла всего лишь о нежелании делать из драгоценных для него воспоминаний публичное достояние. Теперь все стало иначе. Прошлое и настоящее каким-то неведомым образом слились между собой. О чем сейчас думает Люси? О чем она думает каждое утро, проснувшись и увидев, как медленно разгорается новый день? Что новость уже успела дойти и до него? И теперь он знает, что нужно делать, и непременно что-нибудь придумает?

Девочка лежала в той же позе, в которой они ее оставили. Ей не приснился страшный сон, покой в ее маленькой пустой вселенной не нарушил посторонний звук. Одна щека немного раскраснелась, там, где касалась подоткнутого под голову кулачка.

* * *

Когда капитан обнаружил, что после смерти жены его привычная военная выправка стала уже не та, что прежде, — что он по-стариковски распустился, что, устав, он шаркает ногами, — он стал следить за этими недостатками столь же тщательно, как следил, не желая казаться дочери старой развалиной, за собственными платьем и внешностью. Он регулярно ездил к парикмахеру в Иннискелу. Он коротко стриг ногти; он аккуратнейшим образом повязывал галстук. Каждое утро он неизменно до блеска начищал туфли и отправлял их в починку задолго до того, как стопчется каблук.

Но все равно с Хенри и с Бриджит разговор клеился как-то проще, чем с дочерью. Им он мог рассказать о том, как бесцельно кочевал по Европе в первое время после похорон, просто пересаживаясь из поезда в поезд, и только изредка очередная поездка была продиктована каким-либо полузабытым чувством или неясным желанием. А еще он вспомнил, как однажды, сидя на лавочке в парке, он задумался о людях, которых оставил в Ирландии. Раскурив очередную сигарку, он, помнится, подумал, что они тоже

должны были состариться за это время, потом забеспокоился: а вдруг оставленного стада уже недостаточно, чтобы давать им средства к существованию, а если достаточно, то, интересно, как они там со всем этим хозяйством управляются. Пришла ему в голову и еще одна мысль, о которой он теперь не стал говорить вслух, — а что, если они уже умерли?

— Мы можем привести в порядок сторожку, — предложил он Бриджит. — Если вам захочется опять туда вернуться.

— Да нет, сэр, спасибо. Вот разве если вы прикажете.

— Я не тот человек, который может отдавать здесь приказы, Бриджит. Я перед вами в большом долгу.

— Да бросьте вы, сэр.

— Вы воспитали мою дочь.

— Любая семья на нашем месте сделала бы то же самое. Мы просто делали, что могли. Мы, наверное, остались бы лучше здесь, а, сэр, если вы не против. Если вы не сочтете это наглостью с нашей стороны, сэр.

— Конечно, не сочту.

Именно Бриджит рассказала ему о том, как с годами у дочери сходила на нет хромота и как

воспитывался стоицизм, когда те же самые годы не принесли ничего нового, как выстояла вера и умерла любовь. Срезая в саду разросшуюся ежевику или заделывая секкотином прохудившуюся свинцовую крышу, капитан думал о том, как унизительно слушать такого рода вещи о собственной дочери, когда тебе как постороннему человеку объясняют происхождение той или иной черты ее характера. Впрочем, было бы странно, если бы они с ней встретились как старые знакомые, и с этим он смирился. Он пытался представить ее себе четырнадцатилетней, потом в семнадцать лет, в двадцать; но тут же властно вмешивались воспоминания о том, как он держал ее на руках, совсем маленькую, или о том, какая она потом стала самостоятельная и как он о ней беспокоился. А теперь она заперлась в этом мрачном старом доме, и он переживал, что она никогда не выбиралась в Иннисселу, что, будучи взрослой, она ни разу не прошла по тамошней длинной главной улице, что она наверняка уже не помнит ни лебедей в речном устье, ни променада, ни летней эстрады, ни приземистого маленького маяка, которые она так любила в детстве. Разве ей не хочется пройтись по магазинам, куда более приличным, чем эта лавчонка в

Килоране? А как, интересно знать, она обходится без дантиста?

Он задал ей этот вопрос за обедом и узнал в ответ, что дантист наезжает время от времени из Дунгарвана; что доктор Бритистл раз в неделю ведет прием в Килоране, как до него это делал доктор Карни; что по воскресеньям из Инниселы в килоранскую, выстроенную из гофрированного железа церквушку приезжает представитель Ирландской церкви, яснолицый молодой викарий, и служит службу. Но о событиях экстраординарных, которые имели место за время его долгого отсутствия, ему рассказывала Бриджит: о пронзительно морозном утре, когда в саду насквозь промерз насос, о том, как однажды в воскресенье к ней приезжали племянницы, похвастаться платьицами, сшитыми к первому причастию, о том, как в ясный солнечный день после обеда приехал каноник Кросби и сказал, что пала Франция. В Беллинцоне в тот день тоже было солнечно — тут же, безо всякого усилия, вспомнил капитан.

— Вот, взгляни, с тех пор остались, — сказал он за обеденным столом, и когда Бриджит вошла, чтобы унести тарелки и овощные блюда, стол был сплошь покрыт почтовыми открытками с видами итальянских городов и пейзажей.

Очень вежливо, как доложилась на кухне Бриджит, Люси брала в руки каждую, кивала и складывала в аккуратную стопку.

* * *

В Лахардан провели электричество, потому что капитан счел это удобство необходимым для дочери. Он купил пылесос «Электролюкс» у заехавшего в дом коммивояжера, а однажды вернулся из Инниселы со скороваркой. «Электролюкс» Бриджит понравился, но скороварку она отложила подальше как вещь откровенно опасную.

У Дэнни Кондона из килоранского гаража капитан приобрел автомобиль, довоенный двенадцатый «моррис» с характерным для его времени покатым кузовом, черно-зеленый. Та машина, которую оставили стоять в сарае в 1921 году, на цельнолитых резиновых колесах, даже и в начале двадцатых казалась допотопным чудищем, да и ездить на ней, считай, почти не ездили. Малиновки давно уже взяли в привычку вить в складках ее откидного верха гнезда, а блестящие когда-то медные части теперь были сплошь покрыты патиной, пылью и птичьим пометом. Дэнни Кондон ее и забрал, немного скинув цену

«морриса».

Покупка машины была еще одной попыткой капитана хоть как-то вырвать дочь из добровольного заточения. На подъездной аллее и по дороге в Инниселу, в кино, он научил ее водить.

— Ну что, сегодня большие гонки? — предлагал он с утра, и они отправлялись в Лисмор или в Клонмел.

Он отвез ее в Коркский оперный театр, сперва угостив обедом в отеле «Виктория», где произошел курьезный случай: из-за столика встала пожилая женщина и неровным голосом спела последние несколько строк арии из «Тангейзера». Посетители наградили ее аплодисментами, а капитан тут же вспомнил о том, как в Читта-Альта однажды играли мелодии из «Тоски», пока кто-то не приказал перейти на военные марши. Он стал рассказывать о том дне, и его вежливо выслушали.

* * *

На лесопилке Ральфу всегда было проще чем где бы то ни было. Практическая деятельность приносила облегчение; чувства притуплялись от гула пилорам и скрежета разрезаемых бревен, от того, как внимательны и сосредоточены были

рабочие, от запахов пота, смолы и пыли. Он был за все в ответе и должен быть за все в ответе. Но слишком уж легко, стоило ему взобраться по лесенке в контору, из которой был виден весь цех, стоило шуму немного — совсем немного — утихнуть за запертой дверью, его мысли уносились прочь. Желание не пропустить ни единой детали в квитанциях, счет-фактурах, в колонках цифр в бухгалтерских книгах, озабоченность признаками изношенности в приводном ремне или необходимостью заново заточить пилу, расчетом недельной заработной платы, — как-то сами собой отступали на задний план; а через несколько минут он выныривал, как будто проснувшись, и удивленно глядел на зажатую в руке бумагу или на книгу, раскрытую перед ним на столе.

Часто в контору заходил отец, чтобы взять на себя часть его дневных дел и забот. Отец ни слова не говорил по поводу этих внезапных отлучек, когда сын, желая скрыть очередное наваждение, вдруг срывался с места и шел по некрашеным доскам пола через всю контору к внутреннему окну и слишком долго не оборачивался. Ральф совсем не умел врать; и отец не раз об этом говорил. Об этом говорили рабочие, когда в середине дня смолкали пилы и они садились где-нибудь в тихом месте,

на солнышке во дворе, если день был погожий, и доставали сандвичи. Люди говорили об этом в распивочной у Логана: те, кто собирался там по вечерам, чтобы выпить, женщины, которые заходили купить бакалейных товаров, люди, которые знали Ральфа всю его жизнь. Никто не усомнился в нем ни на секунду — ни здесь, ни в том доме, куда он привел молодую жену, ни в одноэтажном домике с верандой, который выстроили для себя его отец и мать.

Но что-то изменилось и вошло в привычку.

— Пойду пройдусь до Дунана, — говорил он, вернувшись под вечер домой, и шел куда глаза глядят, чтобы — он знал, что именно так все это и поймут, — сбросить с плеч накопившееся за день напряжение, раздражение, которое так или иначе накапливалось, когда что-нибудь шло не так, как надо, когда подолгу приходилось ждать заказанной запчасти для механизма или не получалось к сроку поставить заранее оговоренный объем продукции.

Ложь, которая и ложью-то не была — так, нестоящий обман, и говорить не о чем, — подкрашивала собой каждый его день. Именно такой образ жизни он отродясь самым искренним образом презирал.

— А что, Кэссиди уже выгнал телок на пастбище? — спрашивала жена, когда он возвращался с вечерних прогулок.

Или:

— А в Россморе уже начали смолить лодки?

И он отвечал, хотя не заметил ни того, ни другого. Он не мог, не хотел причинить ей боль, хотя само ее довольство жизнью казалось ему противоестественным. Почему она не чувствует боли, когда кругом одна боль?

— Раньше ты рассказывал мне больше. — Она улыбкой отгоняла прочь то, что иначе могло бы показаться жалобой, и он говорил ей, что на Хилиз-Кросс снова вернулись лудильщики. Или что миссис Пирс раньше обычного подстригла фуксии. Или что в Дунане разлился ручей.

Она была прекрасная хозяйка, и ему это нравилось, нравилось, что она все делает не спеша и на совесть. Ему нравилось, как она готовит; нравилось, что в комнатах чисто и как легко у нее получается успокоить ребенка. Если бы когда-нибудь он отважился рассказать ей о том, что скрывал, она бы выслушала его на свой обычный манер, внимательно и серьезно, ни разу не перебив по ходу. «Честно говоря, я никому об этом не рассказывал, — мог бы сказать он ей,

закончив свой рассказ. — Не только тебе. Вообще никому на свете». Но время для такого рода откровений давно ушло, теперь было бы слишком жестоко оставлять ее лицом к лицу с девушкой в белом платье, с машиной мистера Райала, с чаем, накрытым на лужайке; слишком жестоко приводить ее на берег моря в тот день, когда морская пена летела в лицо пополам с дождем.

— Я, наверное, куплю тот склон, у Мэлли, — сказал он ей однажды вечером.

— Поле?

— Если можно так выразиться. Земля-то бросовая.

— А зачем тебе понадобилась бросовая земля?

— Расчищу и посажу ясень. А может быть, и клен.

Инвестиция, сказал он. Чтобы хоть какой-то интерес появился в жизни, не стал он добавлять следом; хоть что-то, способное удержать его в этих, родных для него местах; вложение в будущее, которое сможет придать будущему форму, пока оно еще не успело стать будущим.

— А Мэлли сказал, что хочет продать эту землю?

— Не думаю, чтобы ему вообще когда-нибудь приходила в голову мысль, что на эти несколько

акров найдется покупатель.

В комнате, где они сидели, стало совсем темно, и он почувствовал себя еще большим обманщиком и предателем оттого, то ему не хотелось включать свет. Она включила свет сама. И он снова увидел ее счастливое лицо и волосы, которые немного выбились из прически, как то случалось с ними в это время суток. Он сидел и смотрел, как она опускает жалюзи; потом она подошла и села рядом.

6

— Надо бы вам, леди, обзавестись вещичками получше этих.

У ее матери было пальто, пошитое в Мантуе, а жемчуг нанизывали прямо при ней, в лавочке на Понте-Веккьо. Ее мать всегда выглядела по меньшей мере импозантной, вела себя как итальянка и следовала итальянской моде. Ее мать восхищалась херувимами Беллини, была любезна с официантами и с горничными в гостиницах и говорила по-итальянски совершенно непринужденно. Нищие на улицах замечали ее издалека, и по всему Монтемарморео шла слава о том, какая она щедрая.

Люси сидела и слушала его в гостиной и время от времени кивала головой.

— Раньше я носила ее платья, — сказала она.

— Ну, конечно, я понимаю.

— Теперь они все износились.

— Может, купим тебе пару новых?

Она покачала головой. Она носила только то, что выбирала себе сама. Она посмотрела в сторону, на неразожженный камин, на черную каминную полку, на знакомые синие полосы

обоев. Она повозила по тарелке ножом и вилкой: есть не хотелось. Что за дурь была у нее в голове все эти годы? Столько времени ждать — чего? Незнакомого старика с пригоршней несвязанных фраз?

— Там был балкон, — сказал он, — и когда по улице внизу проходили люди и видели на столе накрытую к обеду скатерть, они кричали! *«Buen appetito!»*[35]

Фокусник выпускал бабочку, и она то пропадала, то появлялась снова. В день св. Цецилии по городу проходила процессия.

— Ну, и все такое, — сказал он.

Она положила нож и вилку крест-накрест. Образы, которые она сама могла бы вызвать к жизни, были слишком хрупкими, чтобы говорить о них за обеденным столом, над тарелками и блюдцами; слишком драгоценными, чтобы ронять их между делом, как очередную банальность. Она привыкла ко всему, к чему только можно было привыкнуть; она жила, как жила, а теперь ей было трудно. У нее не получалось тосковать; тот факт, что ее матери больше нет в живых, воспринимался всего лишь как факт.

---

[35] Примечания: 35
Приятного аппетита! (итал.)

— Митчелтаунские пещеры? — спросил отец.
— Ни разу там не была.
— Может, съездим?
— Давай, если хочешь.

* * *

Через несколько дней капитану исполнилось семьдесят лет, но он ничего ей об этом не сказал, хотя сказать хотелось. Хотелось, чтобы дочь разделила с ним опыт, который когда-то принято было считать едва ли не ключевым в человеческой жизни, однако с приближением круглой даты все его намерения и ожидания растаяли как-то сами собой. У него никак не получалось сделать ее счастливой, и это значило куда больше всех ключевых дат, вместе взятых.

Он сострадал ей, как мог. Он понял, что она просто физически не может перекладывать собственную боль на чужие плечи; она была редкой души человек и сама о том не знала. Впрочем, если бы и знала, навряд ли это послужило бы ей утешением.

По вечерам после ужина они сидели в гостиной: она старательно исполняла дочерний долг. Она читала. Он выкуривал сигарку и выпивал немного виски. Из вечера в вечер ничего не менялось.

Но однажды на Люси напало какое-то беспокойство, она отложила книгу в сторону, немного посидела просто так, потом вынула из стоящего рядом с диваном стола ящик с шитьем и поставила на пол. Она встала рядом с ящиком на колени и принялась перебирать мотки шелковых ниток, иглы, наброски на клочках бумаги, огрызки карандашей, куски холста, точилку для карандашей, ластики. На глазаху отца она развернула большую прямоугольную холстину с одним из набросков. Потом расстелила ее на коврике у камина, совсем рядом с тем местом, где он сидел: чаек едва можно было разобрать на фоне песка, путаница ломаных линий обозначала галечник у обрыва. Возле уходящего далеко в море каменистого мыса стояли две фигуры. Вышивка осталась лежать, где лежала, он сидел и смотрел, как она снова, со слезами на глазах, взялась разбирать ящик; прочие лежавшие там наброски она просмотрела и все, до единого, скомкав, отложила в сторону, на выброс, остался только этот.

— Леди, — прошептал он, но она его не услышала.

В ту ночь капитан лежал без сна и думал о том, что Хелоиз наверняка разобралась бы со всем этим куда лучше, она точно знала бы, что и как

нужно сказать дочери. У нее всегда был практический склад характера. Это ведь она, едва появившись в Лахардане, тут же решила оклеить обоями их спальню, она настояла на том, что дымящий камин в малой гостиной можно и нужно починить, и оказалась права, она устраивала летом пикники, а в декабре велела установить в прихожей елку, на которую приглашали детишек из Килорана.

Он зажег ночник на столике, чтобы взглянуть на выцветшие розы на обоях, потом опять выключил. Стало совсем темно; он встал и перебрался на стоящий под окнами диван, как обычно, когда ему не спалось. Можно было бы прокрасться сейчас на цыпочках через лестничную площадку, чтобы еще раз увидеть разбросанные по подушке мягкие светлые волосы, как он уже делал раз или два. Но сегодня ночью он этого делать не стал.

В конце концов он задремал, причем без особого труда, и тут же в какой-то итальянской церкви, на вечерней службе, женщина-ризничий принялась читать отрывок из Священного Писания. В дальнем конце площади, в тени, мужчины играли в карты. «Любовь становится алчной, если ее не кормить, — напомнила ему Хелоиз, по пути через площадь, по неровной булыжной мостовой.

— Забыл, Эверард? Если любовь не кормить, она сходит с ума».

* * *

Вот уж занесло так занесло, подумала Люси, и дернул же ее черт согласиться на эту поездку в эти мйтчелта-унские пещеры.

С утра шел дождь, и они с отцом были единственными посетителями. Они карабкались по осклизлому каменному полу под сталактитами, а проводник освещал им дорогу и называл имена пещер: Палата Общин, Палата Лордов, Кингстонская галерея, пещера О'Лири. Они подождали, пока из трещин выползут какие-то уникальные здешние пауки, а потом отправились на прогулку по городу, который, собственно, и дал имя пещерам. Основными местными достопримечательностями были обширная площадь и общий стиль жилых строений: георгианская элегантность, сразу видно, что город служил убежищем для безденежных протестантов. От некогда величественного Митчелтаунского замка ничего не осталось: он был разграблен и сожжен дотла следующим летом после того, как в Лахардан приволокли канистры с бензином.

— Эксцентричное, надо сказать, семейство,

— заметил отец, — эти бедные безумные Кингстоны[36].

Они тронулись в обратный путь, и дождь постепенно перешел в туман и мелкую водяную пыль. Рабочие, расчищавшие канаву, помахали им руками. Затем они никого больше не встретили до самого Фермоя, городка, знакомого отцу еще с армейских времен. «Вы знаете Фермой?» — спрашивал ее когда-то Ральф. Ответ, естественно, отрицательный. Однажды в среду после обеда, еще до того, как в первый раз попал в Лахардан, он ездил туда на машине мистера Райала. До того как познакомиться с ней, он объездил половину всех городов и городишек, которые только есть в графстве Корк, сказал он, и она представила себе, что бывала с ним повсюду, что и сейчас она с ним.

— Славный старый городок, — сказал ее отец.

Они прошлись вдвоем по тротуарам, дымка рассеиваться никак не желала. Воздух был сплошь напитан торфяным дымом. По улице гнали скот.

— Может, зайдем, попробуем здешний кофе? — предложил отец.

В тихой комнате отдыха местной гостиницы

---

[36] Примечания: 36

Одно из самых известных аристократических ирландских протестантских семейств.

вкрадчиво тикали часы. У окна, чуть отдернув оборку шторы, стояла официантка в черном платье под белый передник. Они сняли пальто и вместе с шарфами разложили их на пустом диване. Они сели в кресла и, когда подошла официантка, заказали кофе.

— И еще, может, печенья? — спросил у Люси отец.

— Я принесу печенье, сэр.

Часы пробили двенадцать раз. Официантка вернулась с кофейником, молочником и блюдом печенья с розовой глазурью. Вошла престарелая чета, женщина держалась за руку своего спутника. Они сели у окна, там, где раньше стояла официантка.

— Еще нам нужны гвозди, — вспомнил старик мужчина, едва успев усесться. — И киттингов порошок.

Люси отломила половинку печенья. У кофе был такой вкус, словно его кипятили; но глазурь была сладкая и забивала неприятную отдушку. О замужестве отныне следует забыть раз и навсегда. Можно прожить и не выходя замуж, теперь это не такая уж редкость; даже в Ирландии можно прожить, не выходя замуж.

— А гид попался бестолковый, — сказал отец.

— Да.

Официантка принесла старикам чай. В Фермое нынче ярмарка, сказала она, и старушка сказала, что они в курсе: трудно не заметить, если учесть, что творится на улицах. Да уж, согласилась официантка, просто ужас. С шести часов утра скотину гонят, и раньше все было то же самое. Сама-то она из Гланворта, сказала она, пока не перебралась сюда; ей часто приходилось видеть, как по дорогам всю ночь напролет гонят скот, чтобы попасть на ярмарку в Фермой.

— Мы часто здесь бываем, — через всю комнату сказала старушка, и Люси попыталась улыбнуться в ответ.

Отец ответил, что гостиницу эту знает со времен давно прошедших.

— Все теперь — времена давно прошедшие, — сказала старушка.

Они застучали ложками о блюдца. Стучали в тишине часы; потом стал отчетливо слышен шепот старика, потому что его спутница дала ему понять, что ничего не слышит. Стыд какой, что у нас в доме блохи, сказал он. С дичи или не с дичи, а все равно стыдно.

— Леди.

Отец уже несколько секунд пытался привлечь

ее внимание; и она отдавала себе в этом отчет.

— Извини, — сказала она.

— Было такое время, когда я писал письма и не отправлял их.

Она не поняла; она понятия не имела, о каких письмах идет речь. Она покачала головой.

В тогдашних обстоятельствах неуверенность — вещь вполне естественная, объяснил отец и стал рассказывать, как он наклеивал марки на каждый конверт, а потом все равно оставлял письма при себе. Много лет спустя он бросал эти письма в огонь, одно за другим, и смотрел, как сворачивается и чернеет бумага, а потом рассыпается в прах.

— Вот такие дела, — сказал он, а потом было что-то насчет ее мамы, которая даже слышать больше ничего не хотела об Ирландии и о том, как его любовь заставляла его слишком усердно опекать ее, потому что она была прекрасна и ее красота давала ему больше, чем ей — все картины на свете. Он не пытался вызвать сочувствие, он просто излагал факты, как будто извинялся за какой-то неисправимый изъян в своем характере.

Она кивнула. В романах люди убегают из дому. А романы суть отражение действительности, всего отчаяния и счастья, которые только есть в

мире, и того, и другого в равной степени. Почему никто не исправляет допущенных ошибок и совершенных глупостей — и в реальной жизни тоже, — покуда их Все еще можно исправить? Все просьбы, все уверения в том, что ничего нет на свете более важного, и все это из раза в раз, и страсть, и мольба; за словом слово, сказанные вслух, написанные черным по белому, все они закрутились вдруг у Люси в голове бешеным водоворотом, пока она сидела и молчала, и отец тоже сидел и молчал. Она слышала, как жалуется старик: люди уезжают из дома, а потом замечают, что нахватали блох. В глаза смотреть стыдно.

— Я не мог не сказать тебе, — проговорил отец, — что чувство вины, которое несла в себе твоя мама, было для нее слишком тяжелой ношей.

— Спасибо, что сказал.

Старик встал. Дождь перестал, сказал он, и они оба тут же засобирались. Оставив на столе несколько монет, они медленно, цепляясь друг за друга, пошли к выходу. А капитан и его дочь остались сидеть в тишине.

* * *

Туда-сюда, туда-сюда ползал по мэллеву откосу канавокопатель, запинаясь на каждом крупном

камне, потом расшатывал его, вынимал наружу и оттаскивал в кучу. Чтобы избавиться от кроликов, нужно было привести в порядок каждый дюйм изгороди, а под ней вкопать сеть на шесть дюймов вглубь. Вчера Ральф заказал саженцы. Ясени и клены изменят местный пейзаж; когда они разрастутся и наберут силу, их будет видно за многие мили вокруг.

Он стоял на самом краю достаточно крутого склона: внизу между кустами стреканул кролик, за ним еще один. *Ты так часто мечтал вернуться в Лахардан. Я столько раз делала одну и ту же глупость.* Он уже успел наизусть выучить каждую строку, каждое слово, и то место, где оно было написано на единственном листе бумаги, хотя письмо получил только сегодня. *Что в этом может быть дурного?*

Что может быть? Посидеть за складным столиком на лужайке, выйти снова на пляж, познакомиться с ее отцом, а затем опять уехать? Мотор канавокопателя задребезжал, но тут же снова набрал силу. Кролики нахально скакали чуть не под самыми колесами трактора.

Еще одна среда, после обеда; по чистой случайности этот день окажется средой, они обратят на это внимание и поговорят об этом. Солнце

будет бить сквозь каштановые кроны, и белая входная дверь будет открыта — наполовину. На мощенном галечником дворе будет тихо, и грачи на высоких дымоходах будут сидеть неподвижно, как каменные. Будет ее смех и ее улыбка, и будет ее голос. Ему не захочется уезжать. На всю оставшуюся жизнь.

Тракторист спрыгнул на землю и подошел к нему через весь склон, чтобы сказать, что он сюда вернется и перестреляет всех этих кроликов. Просто ослепляешь их тракторными фарами и начинаешь щелкать по одному, бывает, что и до сотни набьешь за ночь. А иначе жизни не хватит, чтобы от них тут избавиться.

Ральф кивнул.

— Спасибо, — сказал он, и тракторист тут же прикурил сигарету, ему хотелось поговорить о кроликах, хотелось сделать перерыв. — Приезжайте в любое время, — сказал Ральф.

На следующей неделе, сказал тракторист и не торопясь пошел обратно к канавокопателю.

Хотя бы на несколько минут, просто загляните, и все. Что в этом может быть дурного? «Лемибраен, — может сказать он. — В Лемибраене валили старый дубовый лес». Между делом, за завтраком, над последней чашкой чая, над

тарелками, которые еще не успеют убрать со стола, он вполне может сказать, что хочет съездить туда и посмотреть, что к чему. «А то что-то мы в последнее время расслабились. Не хотелось бы упустить партию хорошего леса». И на дорогу ему наделают сэндвичей, и придется их подождать, а он пока наполнит фляжку. Клонрош, за ним Баллиэнн, без особой спешки проследовать через Лемибраен, потому что особая спешка будет казаться ему неуместной. Когда он сделает остановку в пути, сандвичей ему не захочется, и будет не очень понятно, что с ними делать дальше, и, в конце концов, прежде чем тронуться, он бросит их на землю, птицам на прокорм. Когда он подъедет, ее отец протянет ему руку; ее самой сперва не будет видно, а потом она выйдет из дома. Он закрыл глаза, но картина не исчезла, а потом, когда она все-таки исчезла, ему очень не хотелось ее отпускать.

Кролики по-прежнему жизнерадостно скакали в траве. Канавокопатель ползал взад-вперед по склону. В куче появился еще один валун.

«О господи! — Мольба молотой каменной крошкой заскрипела у Ральфа в горле, и глазам стало горячо от подкативших слез. — Господи, где же милость твоя?»

7

Хенри заметил чужого человека и стал прикидывать, кто это может быть. Между деревьями, с верхней части склона по-над гортензиевой лужайкой, где он ломал хворост для растопки и связывал его в вязанки, стоящая у парадной двери фигура казалась тенью, не более того. И пока Хенри стоял и смотрел, эта тень проскользнула в дом сквозь открытую дверь.

Позже, днем, когда Люси вошла на кухню с корзиной грибов, Бриджит сказала:

— Там какой-то мужчина приехал.

Люси собирала грибы в саду. Теперь она вывалила их из потертой корзинки в сушилку для посуды.

— А кто?

Бриджит, которая как раз замешивала тесто для домашнего хлеба, только мотнула головой. Звонок в парадной не звенел, сказала она.

— Отец твой крикнул мне из прихожей, чтобы принесла им чай, как будет готов.

Бог знает, кто там такой, сказала она, может, просто мимо шел.

— А еще отец тебя спрашивал.

— Меня?

— Спрашивал, нет ли тебя где поблизости.

Гости в доме случались не часто. Мистер Салливан перестал садиться за руль автомобиля больше года тому назад. Тот человек, который как-то утром приехал, чтобы продемонстрировать пылесос, купленный у него впоследствии капитаном, был первым визитером за несколько месяцев. Когда заходил кто-нибудь из людей О'Рейли, или сама миссис О'Рейли, с бутылочкой под Рождество, или служащий электрической компании, чтобы снять показания счетчика, никто из них не пользовался парадной дверью. Иногда, хотя и не часто, почтальон задерживался и приходил уже после полудня, но почтальона никто не станет приглашать в гостиную на чашку чая.

— Чайник я уже поставила, — сказала Бриджит, вытирая испачканные мукой руки о фартук.

— Я сама отнесу им чай.

Она старалась говорить короткими фразами. Интересно, а Бриджит слышала голос этого человека? Какой-нибудь отрывок разговора, пока они не закрыли дверь в гостиную? Спрашивать Люси ни о чем не стала. По телу у нее, волна за волной, пробегала дрожь возбуждения, прохладная и

приятная, слегка покалывая кожу. Кто еще может вот так просто взять и войти в дом?

* * *

Хенри занес вязанки хвороста в сарай, в котором раньше, когда индюшек и кур было больше, кормили птицу. Он развязал бечевку и сбросил их на пол, а потом аккуратно уложил у стенки вместе с другими такими же.

— Кто это к нам пожаловал? — спросил он на кухне, обирая с рукавов кофты приставшие кусочки коры.

Бриджит сказала, что понятия не имеет. Она была занята, заполняла тестом сразу две формы, и отвлекаться не стала.

Она отворила печную заслонку. Поднос со всем необходимым к чаю был уже готов, на плите зашумел чайник.

— А что, грибы-то в самый раз, — сказал Хенри, взяв один с решетчатой сушилки возле раковины.

* * *

Расчесываясь у себя в спальне, Люси ничуть не спешила. Из зеркала на туалетном столике

на нее смотрели глаза такие яркие, такие внимательные, что ей казалось: это чьи-то чужие глаза. Губы сами собой подрагивали в уголках предчувствием улыбки; волосы свободно упали ей на плечи, щетка со спинкой из слоновой кости застыла в воздухе. Когда она внесет поднос, они оба повернут головы. «Вот наконец мы и встретились». Она услышала слова, а не голос, который их сказал; но голос будет отцовский.

Нет ничего страшного в том, чтобы выглянуть из окна, посмотреть на его машину, хотя, конечно, и смысла в этом особого тоже нет; и, само собой, старого авто с откидным верхом она уж точно там не увидит. Но когда она и в самом деле выглянула в окно, никакой машины там не было.

Она сняла юбку и свитер и надела платье. Он что, приехал в Инниселу поездом? Или в Дунгарван, потому что до него ближе? Она попыталась вспомнить, есть ли в Дунгарване железнодорожная станция. Скорее всего, он доехал до Уотерфорда автобусом, а оттуда еще немного, до Крили-Кроссроудз. А остаток пути прошел пешком; идти пришлось, наверное, больше часа, но это все равно быстрее, чем ехать на поезде, даже если предположить, что там ходит поезд.

Она подвязала поясок и выбрала бусы. Потом

обратно к зеркалу: стерла с губ только что нанесенную помаду и подвела другим оттенком. Будет он стесняться отца или нет? А отцу он глянется? А кому он, спрашивается, может не глянуться; какие бы сложности ни были связаны с его присутствием в доме, для отца важнее всего, чтобы она была счастлива. Для отца главное, чтобы опять все было хорошо.

Она слегка тронула щеки пудрой. Кровь было прилила у нее к лицу, но теперь все прошло. Интересно, а Бриджит поняла, о чем она думает, и это ее секундное замешательство — заметила? А он, интересно, он сильно изменился?

Она тихо закрыла за собой дверь и спустилась вниз. Когда она вошла в кухню, они оба удивленно на нее посмотрели. Бриджит только что отправила обратно на полку большую коричневую миску, в которой замешивала хлеб, Хенри стоял спиной к плите.

— Ты чай уже заварила? — спросила она у Бриджит, и Бриджит ответила, что еще не успела.

— Я заварю.

Их его приезд, конечно, не может не шокировать. А еще больше их шокирует то, что она вырядилась ради него, ради женатого мужчины. Об этом она не подумала, о том, как все это будет

выглядеть с точки зрения этих простых, незамысловатых людей.

Она заварила чай. Бриджит намазала маслом кусочки хлеба и добавила джема в начинку кекса, купленного в Килоране, от которого осталась примерно половина. Там, у парадной двери, велосипед стоит, сказал Хенри, и Люси воочию увидела, как на перекрестке Крили-Кроссроудз водитель снимает с крыши автобуса велосипед и как Ральф вытягивает руки, чтобы перехватить раму. Конечно же, он взял с собой велосипед. Он знает, что от перекрестка путь не ближний, и странно было бы, если бы он этого не сделал.

— Ой, Бриджит, как красиво! — сказала она, подхватив поднос.

Она вышла с кухни и понесла его по коридору в сторону прихожей. Парадная дверь по-прежнему стояла открытой настежь; отца не заставишь ее закрывать, даже несмотря на то что на улице совсем не жарко. Поставив поднос на длинный стол в прихожей, на котором со времен отцова приезда царил неизменный беспорядок, она заметила заднее колесо велосипеда. На столе теперь вечно лежала отцовская белая шляпа, в которой он ходил, когда на дворе солнце; а когда он выходил поработать в сад, то снимал галстук и бросал его

тут же. А еще здесь скапливались счета, бок о бок с надорванными коричневыми конвертами. Какие-то ключи и мелочь из карманов.

В нише у подножия лестницы висело зеркало; она заглянула в него, поправила воротничок платья и выбившуюся прядь волос. Потом распахнула дверь в гостиную, одной рукой удерживая поднос на весу.

* * *

— Иду из леса, смотрю, стоит велосипед, — рассказывал на кухне Хенри. — Неужто, думаю, сержант Фоли приехал.

— А с чего это Фоли сюда поедет?

— А это вовсе и не он. Присмотрелся попристальнее: нет, не он.

Хенри описал велосипед: тусклая черная рама, остроконечные крылья, под сиденьем толстая такая пружина и немного выдается вперед. Бриджит его не слушала. Показалось, что сержантов велосипед, сказал Хенри, потому что с виду очень похож на армейские.

— Потом подумал, что, может, молодой О'Рейли заехал. Пока не заглянул в окно.

Бриджит на секунду перестала оттирать разделочную доску.

— Не тот, на кого она думает?

Хенри медленно покачал головой.

— Я тебе скажу, кто это такой, — проговорил он.

* * *

— Милости просим, леди, милости просим, — сказал отец.

Сидевший в кресле возле багатели мужчина не повернул головы в ее сторону. Он явно нервничал, сидел, склонив голову, и потирал пальцами одной руки костяшки другой. На нем был черный саржевый костюм, а на лацкане значок общества защиты трезвости. Галстук туго затянут под потертым воротничком. Штанины черных саржевых брюк прихвачены велосипедными прищепками.

— Чай, — выдавила она из себя одно-единственное слово, и только тут до нее дошло, что мужчина уже поднял голову и смотрит на нее. Взгляд пустой, невыразительный, и только из-за того, что лицо у него такое худое, кажется слишком пристальным. Рука у него потянулась вниз, снять со штанин зажимы.

— Значит, чай, — сказал отец, и чашки на столике застучали о блюдца. — Или, может быть, вы

предпочтете виски, мистер Хорахан?

Виски пить мне нельзя, сказал мужчина, судя по всему даже и не заметив, что подали чай. Отец говорил о том, что плечо у этого человека в полном порядке, и объяснял ей, что он и раньше наводил справки, и ему сказали, что о каких-то серьезных повреждениях и речи быть не может. Увидел в прихожей и не узнал, сказал отец, но как только услышал фамилию, сразу вспомнил.

— Мистер Хорахан, — сказал он, и добавил: — Вот только что говорил мистеру Хорахану, мол, что было, быльем поросло.

Она ничего не понимала. Она не знала, кто этот человек. Из всего сказанного она не уловила ни единого осмысленного слова. Она ни разу в жизни не видела этого человека.

— Минералки, если можно, — сказал он, дотронувшись до значка на лацкане.

Тут она развернулась и вышла. Она слышала, как отец окликнул ее. Он открыл дверь, которую она закрыла за собой. Он окликнул ее еще раз, из прихожей, сказал, что все в порядке. Но она уже выскочила из дома и бежала через мощенный гравием двор.

* * *

— Но, господи ж ты боже мой, — растерянно повторяла Бриджит, — чего ему надо-то? Чего он пришел?

Она потянулась и достала с камина четки. Потом закрыла глаза и прислонилась к стене, где стояла, и лицо у нее стало цвета муки, которой до сих пор был припорошен черный подол ее платья.

Хенри сидел на стуле, отставив его подальше от стола, и смотрел, как ее пальцы перебирают четки, как беззвучно шевелятся губы. Затем дернулся на пружинке звонок, выведенный из гостиной, и отвлек его внимание. Бриджит открыла глаза. Она просто в комнату зайти не сможет, сказала она, и вместо нее пошел Хенри. В первый раз с тех пор, как двадцать один год тому назад уехали капитан и его жена, в доме зазвонил не тот звонок, что у парадной двери, а какой-то другой. Этот факт дошел до сознания Бриджит, пробившись сквозь замешательство, сквозь кипящие в груди чувства.

— Он трезвенник, — вернувшись, сказал ей Хенри. — Он хочет лимонаду.

Он открыл один из настенных шкафчиков и

стал искать растворимый лимонад.

— Да он старый совсем, — сказала Бриджит, когда он достал-таки бутылку, где на донышке осталось немного порошка.

— Сойдет. — Хенри высыпал все, что было, в стакан и залил холодной водой из-под крана.

Заливать-то нужно горячей, сказала Бриджит, чтобы порошок разошелся.

— Нет, Матерь ты моя Божья, — вдруг вскинулась она, — что у нас тут у всех с головами такое, что мы его еще и лимонадом угощаем?

* * *

— Боюсь, что встреча с вами вызвала в моей дочери не самые приятные чувства, — сказал в гостиной капитан. — По правде говоря, я еще не успел как следует вспомнить, кто вы такой, когда проводил вас в гостиную.

— Я сейчас без работы, сэр. В тот день, когда вы с мистером Салливаном гуляли по променаду, сэр, я как раз забрал вещички из Лагеря.

— Вы служили в армии?

— В тот день, когда я вас увидел, сэр, я уже на службе не состоял. А потом нанялся к Неду Велану. Он меня взял, потому что у меня есть опыт дорожных работ, еще с армии.

Вошел Хенри со стаканом лимонада, но капитану показалось, что лимонад уже никому здесь не нужен. Этот странный и очень разговорчивый человек, которого он застал в собственной прихожей, вдруг как-то сразу перестал быть разговорчивым. Когда Хенри подошел к нему, он съежился и вжался в спинку кресла. Не зная, что делать дальше, Хенри просто поставил стакан на пол.

— Если будете опять звонить, мы на кухне, — сказал он перед тем, как уйти. А перед тем, как закрыть за собой дверь, обернулся и внимательно оглядел комнату.

— Кто этот человек, сэр?

— Хенри у нас работает.

— Я не доверяю незнакомым людям, сэр.

— Мистер Хорахан, зачем вы сюда приехали?

— Нед Велан меня отпустил два дня тому назад, сэр. Это я говорю на случай, если вы, сэр, не знаете. Как у меня и что.

Капитан налил себе чашку чая и выпил ее. Потом сказал, что он в совершенной растерянности.

Наш дом открыт для вас, добавил он; что было, то быльем поросло, повторил он; он ни в коем случае не хочет показаться негостеприимным. И

все-таки он в совершенной растерянности.

— Время каждому из нас выделило то, что ему причитается, мистер Хорахан. И при всем при том было бы, наверное, лучше, если бы вы больше к нам сюда не приезжали.

Ему пришло в голову, что этот человек приехал сюда в поисках работы, он ведь сам сказал, что работы у него сейчас нет. Но разве может такое быть, чтобы человек, который однажды едва не поджег его дом, мог вернуться с этакой вот, с позволения сказать, идеей на уме. Эта мысль сама по себе показалась капитану совершенно невероятной, но тем не менее он сказал:

— Боюсь, мне нечего вам предложить. Если вы насчет работы.

Ответа на это не последовало, ни отрицательного, ни вообще хоть какого-нибудь. Молчание длилось несколько минут, потом гость сказал:

— Мы сидели на эстраде вторяка и курили, а потом я им и говорю, а чего бы нам не подпустить им петуха? Сам я это и сказал, а потом: а может, спросим у мистера Фехили, может, он что посоветует?

— С тех пор прошло очень много времени.

— «Собак траваните, — он нам говорит. — Перво-наперво траваните псов». У мистера Фехили и

яд как раз нашелся. И велосипеды он тоже нам достанет, так он сказал. «Только тихо там, на месте, — говорит он нам. — И пока не стемнеет, к дому чтобы ни ногой». Мистер Фехили, он за Ирландию калекой стал, сэр. Кости в спине поломал. И двух пальцев на руке как не бывало. «Посмотрим, как у нас там насчет бензина», — он говорит, и нам через заднюю дверь вынесли канистры, и спрятали потом в канале, в пересохшем. «Все, что у вас есть, укройте как следует», — говорит он нам опять. И дал нам, кусок прорезиненной ткани, чтобы накрыть канистры, когда их нам доставят на перекресток. «Никуда по дороге не заезжайте, а если остановитесь перекурить, курите осторожней». И надо было все повторять наизусть, пока не запомнишь слово в слово. Разбиваешь стекло, открываешь задвижку. Поднимаешь раму, и бензину туда. Занавески полить. Если валяются рядом какие-нибудь подушки, плеснуть побольше, чтобы перо загорелось. Потом позвонить в дверь, чтобы всех разбудить. Ждешь, пока лампа не загорится наверху, а уж потом бросаешь спичку. Коробок с собой. Коробки на месте не разбрасывать.

— Давайте-ка, мистер Хорахан, пейте ваш лимонад, и всего вам доброго. Обо всем этом лучше

не вспоминать.

Капитан встал.

— Есть такие вещи, про которые вы совсем ничего не знаете, сэр, — сказал гость.

— Ну да, наверное; и тем не менее, мне кажется, что лучше мы на этом и покончим.

— Приходил «христианский брат» и все говорил нам: как увидишь большой дом, знай, там твой враг. Вы, наверное, слышали разговоры про «белых ребят»[37], сэр?

— Да, конечно.

— А потом еще «ребята с лентой». А потом еще амбарные школы. Этот брат нам про все рассказывал. Как человек уходил в «белые ребята» и брал себе имя: Секач или Жнец, Никого Не Бойся или Гори Скирда, как бог на душу положит. А по-

[37] Примечания: 37

Одно из нескольких традиционных наименований тайных крестьянских обществ, наряду с «ночными ребятами», «дубовыми ребятами», «стальными ребятами», «Молли Мэгвайр» и др. Существовали в Ирландии со второй половины XVIII века. Занимались угонами скота, поджогами, похищениями людей, шантажом и т.д., деятельность была направлена в первую очередь против англо-ирландской знати и зачастую провоцировалась и подогревалась националистически настроенной клановой аристократией. Центрами воспитания националистических, антипротестантских и сепаратистских настроений в крестьянстве были существовавшие в противовес подконтрольной английским властям официальной образовательной системе т.н. «амбарные школы», где, вполне в традициях древнеирландской «бродячей интеллигенции», всех желающих обучали грамотные энтузиасты — с параллельным внедрением соответствующих идеологических установок.

том он уже и забудет про это все, а имя остается, и про него рассказывают. А в Лагере нормальная жизнь была, сэр.

— Понятно.

— Я в армию пошел, чтобы хоть как-то со всем этим справиться, сэр, потому что сны меня замучили совсем.

— Ага, понятно.

— Только все равно я и в Лагере никак не успокоился, сэр. Я с тех пор нигде успокоиться не могу, хотя одно время вроде как все улеглось. Единственное было беспокойство — на железной дороге, это если коркский поезд с августовским выездом задерживался. Мистер Хойн рисовал на песке картины краской, и если поезд опоздает, то волны смоют все картины, и дети, которые приедут на поезде, их не увидят. В том же месяце на вокзале появились Пьеро с огромной плетеной корзиной, и крышка у корзины крепилась на петлях, и я вез ее на тележке по всей платформе, а они потом дали мне немного денег. А потом еще как-то раз по платформе прошли маршем скауты, а я стоял и смотрел, и никто особо не возражал. Там их было-то всего с полдюжины, и еще такие маленькие чудные шапочки, как у барабанщиков. Я, сэр, с тех пор ни разу такой шапочки не

видел. Они что, совсем исчезли?

— Очень может быть.

— Я поначалу там, на железнодорожной станции, чувствовал себя таким большим человеком, сэр. Я тогда встречался с одной девушкой, и мы обычно гуляли там, где лебеди. И там еще был такой маленький белый песик, он все выскакивал из будки, ну, где сигаретами торгуют, и норовил ухватить за ногу, а моя девушка, ну, она его ругала, как будто мальчишку какого. «Погоди, ты сейчас не то еще увидишь», — говорю я ей и показал свое плечо. Впечатление было то еще, я вам скажу. «Это у тебя откуда?» — она меня спрашивает, а когда я сказал, она говорит, а я, говорит, и не знала, что ты из этих. По правде говоря, там и шрама-то уже было почти не видно, но так получилось, что мы с ней тогда у лебедей гуляли в последний раз, и все, наотрез. Я все пытался ее найти, а ее нигде нет. А потом, если встречу ее в церкви во время мессы, она от меня прямо бегом бежит.

— Очень сожалею.

— Я ведь так и не понимал, в чем тут дело, пока не стали сниться сны. И тогда я понял, сэр. И покоя как не бывало. Я так боюсь этих снов, сэр.

Капитану пришло в голову, что этот человек

мог приходить сюда и раньше, что за долгие годы его собственного отсутствия он мог наведываться сюда не раз и не два. Но, с другой стороны, ни о чем подобном ему не рассказывали, и на секунду он усомнился, а может быть, от него просто-напросто скрыли правду или, скажем, просто не стали об этом говорить, как вообще не принято говорить о поступках душевнобольных. Но, судя по тому, как вела себя дочь, а за ней Хенри, подозрения были напрасны.

Бывший солдат сидел в кресле, и поза у него была нелепая, как будто он самой позой пытался показать все неудобства своего существования. Время от времени, когда повисала пауза или когда, наоборот, его несвязная речь в очередной раз срывалась с места в карьер, руки у него начинали ощупывать одежду, как будто искали что-то. Потом они вдруг застывали, и, немного времени спустя, он снова начинал тереть костяшками одной руки о ладонь другой. Его взгляд то и дело уходил куда-то вниз и в сторону, цепляясь то за ковры, которыми была закрыта большая часть пола, то за угол деревянной стенной обшивки.

— И еще вы, должно быть, не знаете, сэр. Что те двое ребят, они уже уехали.

— О каких ребятах вы говорите, мистер Хора-

хан?

— Давно уехали, сэр.

— Которые приходили сюда той ночью вместе с вами, так, что ли? Они что, эмигрировали?

Капитан вспомнил то чувство жалости и страха, которое шевельнулось где-то у него внутри, когда он понял, что попал в одного из стоящих на лужайке юнцов, а потом облегчение, когда раненый не упал на землю. Он как-то неловко пошел вперед, всего несколько шагов, пока его не догнали товарищи.

— Это был несчастный сличай, — сказал он. — Я не собирался ранить вас. И мне жаль, что так все получилось.

Он раскурил одну из своих маленьких сигарок и, почувствовав острую потребность чего-нибудь выпить, пошел через всю комнату, чтобы налить себе виски. По пути он уцепился взглядом за стоящий под одним из окон велосипед и подумал, а не тот ли это самый, который двадцать с лишним лет назад уже успел два раза проделать дорогу к дому. И как, интересно, товарищи Хорахана умудрились довезти его в ту ночь обратно в Иниселу. Три велосипеда на двоих плюс раненый, им явно пришлось помучиться. Он налил больше виски, чем намеревался. А потом медленно вернулся к

своему креслу.

— И никто этого не скажет, сэр. Девушка, с которой ты встречаешься, не скажет тебе ничего подобного, потому что это слишком страшно, говорить такие вещи мужчине. То же самое и люди в Инниселе — до сих пор никто не скажет. Ни в магазине. Ни матушка моя, за всю жизнь ни разу, сэр, упокой, господи, ее душу. Ни ребята в армии. Никто из тех, кто работает сейчас у Неда Велана, не скажет этого вслух, сэр.

— Может быть, вы мне скажете, чего они такого никак не скажут, а, мистер Хорахан?

Капитан говорил мягко, как только мог, прикинув, что в этаком разговоре так будет лучше. Он вспомнил матушку, о которой зашла речь, — когда они пришли к ним в дом, лицо у нее было каменное, платье засаленное, а под ним ковровые тапочки. И — такая же глухая враждебность, как у мужа, хотя сама она за все время не сказала ни слова.

— Прежде чем начнет звучать гимн, сэр, в зале зажигают свет. В той толпе, которая выходит наружу, сэр, никто ничего не скажет. Ни мужчина, ни женщина. Можешь хоть всю жизнь маршировать по плацу во дворе казармы, и все время будет одно и то же. Сидишь себе и жрешь, и ни

слова. И только Матерь Божья, сэр, только она может все расставить по своим местам.

Чувство сострадания прихлынуло так внезапно, что капитан сам себя испугался, представив этого больного человека в армейской части, одинокого и странного посреди плац-парада, а за спиной постоянные шепотки, а по ночам он борется с кошмарами, которые никак не желают оставить его в покое. Он увидел его, стоящим по стойке «смирно» на посту в большом синематографе в Инниселе, когда играют государственный гимн. А что, если на пустом экране, на который он был вынужден неотвязно смотреть, вспыхивали куски его ночных кошмаров, а что, если и в этом состояла часть его пожизненной муки? А что, если они поджидали его повсюду: на улицах, на берегу моря, в устье реки, где плавают лебеди?

— А в тот день, когда я увидел, как вы гуляете на променаде, со мной заговорила Святая Дева, сэр.

* * *

Несколько пчел кружило между ульями, большая их часть была занята внутри. Пчелы никогда ее не жалили, но однажды она надевала туфельку, и там оказалась оса, а мама потом натерла укушенное место чем-то прохладным и все утро

читала ей из большой зеленой книги братьев Гримм. А потом, много лет спустя, когда мамы давно уже не было дома, Хенри нашел в трещине стены под грушей гнездо шершней. «Иногда мне кажется, что пляж, а иногда — то место, где переход через ручей, — сказала она в ответ на вопрос Ральфа о том, какое место у нее здесь любимое. — А еще бывает, что это сад». Они снимали Батскую красавицу, и яблоки были точь-в-точь как сейчас, спелые, в малиновую и красную полоску, как щеки Ханны, когда она ее видела в последний раз. На кустах черной смородины, на самом солнышке, Бриджит разложила салфетки, — просушить. И они стали твердыми, как картон. Она сняла их, опасаясь внезапного дождика.

Во дворе навстречу ей лениво вышла одна из овчарок. Она погладила псину по гладкой черной голове и почувствовала, как та прижалась к ее бедру. Когда зимой в сарае, где кормили птицу, разводили огонь, она любила там сидеть; Бриджит как-то раз сказала ей, что и она в детстве тоже так делала. Люси зашла в сарай, в его прохладную полумглу. С тех пор как, много лет тому назад, сарай стали использовать по другому назначению, огня тут больше не разводили. «Может, устроим тут дровяной склад?» — спросил ее

Хенри, делая вид, что от ее мнения тоже что-то зависит. Ей тогда было одиннадцать лет.

Она посидела в сарае, на стуле, который раньше стоял на кухне, пока у него не вывалилась спинка. Овчарка не пошла за ней внутрь, повернув назад от самой двери: ей больше нравилось на солнышке. Люси услышала, как Хенри вышел во двор и сказал, что человека, который сидит в гостиной, зовут Хорахан. Она не знала, кто такой Хорахан, знала только, что отец уже называл это имя. Она спросила об этом Хенри, и тот ей все рассказал. Он взял у нее салфетки, сказав, что как раз идет на кухню.

— У этого Хорахана с головой что-то совсем стало плохо, — сказал он.

Она стояла в дверном проеме сарая и смотрела, как Хенри идет через двор к дому. Ей было не холодно и не жарко оттого, что человек, который был всему виной, опять пришел в Лахардан, не холодно и не жарко оттого, что у него стало совсем плохо с головой. Выехал Ральф в дорогу или нет? Может, ему и осталось всего ничего и скоро он будет здесь? Сегодня, сейчас? А может быть, именно сейчас его машина разворачивается на пустой дороге возле сторожки и трогается в обратный путь?

— Ну да, конечно, — прошептала она, твердо зная, сколько ей осталось от той реальности, которая не стала задерживаться надолго. — Именно сегодня он здесь и был.

Она снова пошла в сад, потом в заросший травой огород. Всем телом она чувствовала страшную усталость, как будто стала вдруг древней старухой. Он понял. Понял, что она наказана за собственную глупость. Через несколько дней придет исполненный печали ответ на ее письмо, и ей захочется написать ему еще раз, и она попытается, и, вероятнее всего, ничего не выйдет.

Она подумала, что чужой человек, должно быть, уже успел уйти, но когда она вышла из сада, через двор и через арку на подъездную площадку, велосипед по-прежнему стоял у стены. В прихожей были слышны голоса. Можно было вернуться назад; можно было подняться наверх. Но во всей этой ситуации была какая-то незаконченность, и она не стала отступать.

— Выпьешь чего-нибудь? — спросил у нее отец, уже в гостиной.

Она покачала головой. По его взгляду она поняла: он догадался, что ей уже сказали, кто пожаловал к ним в гости. Она подумала: а он сам-то, интересно, когда об этом догадался. И почему не

прогнал его прямо с порога.

— Мистер Хорахан был солдатом, — сказал отец.

Законченная вышивка с фигурами на пляже лежала на подлокотнике кресла, из игольного ушка свисает бледно-голубая нить. Нужные цвета у нее были не все, и на холсте там и тут зияли белые пятна. Она свернула вышивку, заколола иголкой и сунула на место, в ящик.

— Посидите с нами, леди, — сказал отец.

Она смотрела на него, пока он наливал себе очередную порцию виски. Он налил и ей, хотя секунду назад она сказала, что не будет пить. Он принес стакан ей, и она сказала: спасибо. В окно ударилась птица и какое-то время отчаянно била крыльями в стекло, пока не пришла в себя и не улетела.

Человек в кресле сидел и что-то бормотал себе под нос.

* * *

Когда он красил окна в сумасшедшем доме, в оконном проеме иногда появлялся псих, а не то сразу два или три, они здоровались с ним за руку через решетку и спрашивали, не найдется ли у него лишней замазки; он скатывал пару комоч-

ков и клал сквозь решетку на подоконник. «А, я знаю, что ты за птица», — однажды сказал один из них, и остальные тут же подняли гвалт, чтобы им тоже сказали. «А то я не знаю, что ты за птица», — сказал ему сержант на плац-параде, и еще один человек, который выходил от Фелана, сказал то же самое, очень невнятно, потому что был пьян. «Очередной калека за Ирландию», — сказал один из них, и в окошко сквозняком выдуло занавеску: как белый флаг на фоне темного неба.

— Дня не проходит, чтобы я не поставил свечку — девочке, за упокой души.

Он поднял голову и огляделся: в комнате с тех самых пор даже ремонта не сделали: не вставили в окна стекол, не отчистили закопченные стены. Мебель, выгоревшая чуть не дотла, стояла на своих местах, пол усыпан осколками стекла, свисают лохмотья штор. «Черт, давай быстрей отсюда, — сказали ребята. — Черт, не оглядывайся».

Когда он опустился на колени, щепки больно впились ему в плоть. Когда он встал, на ногах остались капли крови, теплые, и ему стало неудобно, что он опять принес в эту комнату кровь.

— Всего лишь тени, призраки, — сказал он и стал объяснять сказанное, потому что иначе непонятно. Всего лишь тени на фоне густых клу-

бов дыма, когда он обернулся и увидел, как люди уносят чье-то тело.

* * *

— Это моя дочь, мистер Хорахан. Она — та самая девочка, которая тогда жила в этом доме.

Наверху негромко стукнула дверь, двери иногда открывались и закрывались сами собой, когда с моря задувал бриз; а ручка задребезжала потому, что старая и разболталась. В наступившей тишине Люси попыталась сказать, что она могла бы выйти замуж за любимого человека, что ее родители вынуждены были уехать из собственного дома, что мать так никогда и не оправилась от своего горя. Все это была чистая правда; она специально вернулась в гостиную, чтобы это сказать, потому что кроме этого говорить было не о чем, но слова не шли. Букет цветов, белых колокольчиков, который она еще с утра поставила в комнате, казался каким-то выцветшим на фоне пожелтевших от солнца обоев. От отцовской сигарки ленивой змейкой поднимался вверх дым.

— Приятный вечер, домой вам будет ехать — одно удовольствие, — сказал отец.

Ей показалось, что она ослышалась: таким невероятным диссонансом прозвучала эта веж-

ливая фраза. Под горло опять подкатило желание сказать о том, как в одночасье рухнула вся здешняя жизнь, о страхе и хаосе там, где когда-то царило счастье, о боли. И снова гнев выдохся, не сумев прорваться наружу.

— Ну, ладно, — сказал отец, встал, прошел через всю комнату, открыл дверь и остался стоять возле нее. — Идите с богом, — сказал он уже в прихожей.

Она вышла с ним вместе, так, как будто он ее об этом просил, хоть он и не просил. Снаружи на гравии и на крыльце лежали косые полосы солнечного света. Море вдалеке было тихое-тихое. Наверное, нужно было поплакать, но у нее не получилось раньше, не получилось и теперь; может быть, вообще больше никогда не получится. На секунду она зацепилась взглядом за лицо мужчины, который вернулся сюда после стольких лет, и увидела там одно лишь безумие. Его возвращение не было облагорожено каким бы то ни было смыслом; прошлое и настоящее не выстроились в понятную последовательность событий, хотя, наверное, могли бы; смысла не было ни в чем и никакого.

— Дня не проходит, чтобы я не поставил свечку, — сказал он.

— Да, конечно, — сказал отец. — Конечно.

Послеполуденный гость аккуратно приладил на место велосипедные зажимы и тронулся с места, долговязая фигура на большом железном велосипеде. Они смотрели ему вслед, пока он окончательно не исчез в подъездной аллее, а потом, когда отец сказал, что ему очень жаль, она поняла по его тону, что он знает, почему она так вырядилась.

Они немного прошлись по аллее, не говоря ни слова, пока наконец ее гнев не прорвался наружу могучей яростной вспышкой, пружиной взметнувшись из-под придавившей ее было усталости. Она что-то кричала вслед уехавшему мужчине, и ее отчаяние эхом отражалось от выстроившихся в ряд деревьев, а слезы мигом промочили отцу одежду, когда он наконец прижал ее к себе.

— Будет тебе, будет тебе, — услышала она его тихий голос, одни и те же два слова, опять и опять.

8

Хенри и Бриджит еще не начали всерьез страдать от старческих недугов, которым впоследствии было суждено превратить их обоих в калек. Когда начинались боли — у Хенри в колене, у Бриджит в плече, если погода стояла сырая, — они вверялись воле Божьей; когда как-то раз в мастерской Хенри сдавило грудь, он просто постоял тихонечко и подождал, пока отпустит. Бриджит оглохла на одно ухо, но утверждала, что ей и другого вполне достаточно.

Пришла другая беда, откуда не ждали, и куда более серьезная: на маслобойне заявили, что лахарданское молоко сплошь заражено. Потом обнаружили, что в стаде свирепствует туберкулез; после принудительного забоя осталось всего восемь коров. Капитан, прямо с первого дня, помогал Хенри в дойке, хотя получалось это у него не очень. И это, и все прочее, что было с этим связано — дважды в день загонять коров в доильню, пастеризовать фляги, отмывать все начисто, — уже становилось не по силам двум старикам, так же, как когда-то становилось не по силам одному Хенри. Он старался как мог,

и с капитановой помощью дело шло лучше, но именно он как-то раз поставил вопрос ребром: если они перестанут отправлять молоко на маслобойню, то восьми коров слишком много, а если не перестанут, то слишком мало. Трех, с самыми лучшими удоями, оставили, остальных продали.

Это было начало конца. Наверное, рассудительно заметила Бриджит, когда несколько поколений тому назад большая часть Лахардана была проиграна в карты О'Рейли, на душе было примерно так же. Хенри страдал оттого, что несчастливое стечение обстоятельств оставило его без привычной работы, пусть даже эта работа и начала становиться ему в тягость, пусть даже именно от него исходила инициатива свести стадо к минимуму. А теперь выходило так, что оставшиеся три коровы никак не смогут съедать всю траву, которая растет на лахарданских пастбищах, и год от года проблема эта будет становиться все серьезней. Луга зарастут, чертополох некому будет вытаптывать, и он засеет все, что только сможет, да и крапива разрастется. А ему останется только беспомощно смотреть на этот упадок, потому что постоянно выкашивать бурьян при помощи серпа у него не будет ни желания, ни сил. «Ну, и плюнь ты на это на все»,

— последовала резолюция Бриджит.

Спорить с ней смысла не было, не было смысла гробиться целыми днями под дождем, да так, что это и молодого бы свело в могилу. Но время от времени Хенри все равно возвращался с полей вымокшим до нитки, и Бриджит развешивала всю его одежду на кухне, на выдвижных штырях у плиты. Летом он уходил в поля с серпом и крюком на длинной палке и выкашивал там бурьян, и подравнивал живые изгороди с пяти утра до самой темноты. В марте, когда на гортензиевой лужайке пробивалась трава, он счищал с газонокосилки наросшую за зиму ржавчину и смазывал ось. Хотя бы это.

— Да нет, сэр, что вы, не нужно, — отказывалась Бриджит, когда капитан предлагал ей нанять какую-нибудь женщину в Килоране, чтобы она приходила и помогала по дому. Вроде как Ханна приходила когда-то, настаивал он, но Бриджит считала, что от посторонней женщины в доме хлопот будет больше, чем пользы. — Да бросьте вы, мы и так замечательно со всем справляемся, — говорила она.

Капитан знал, что это не так. Они упрямо следовали заведенному порядку вещей, и не только в силу привычки, но и находили в этом своего

рода повод для гордости. Они гордились тем, что Лахардан стоит, как стоял, что они управляются с ним, что на них здесь все держится, что они все время что-нибудь придумывают и давно уже переросли ту роль, для которой он когда-то их здесь оставил: просто следить за порядком. Именно Хенри предложил способ, как можно в будущем уберечь выгоны от полного зарастания сорняком: за небольшую ежегодную плату и обязательство чинить изгороди О'Рейли и в самом деле согласились выпасать на этих землях свой скот — на полную катушку.

О человеке, который как-то раз, теперь уже больше года назад, явился к ним в дом, почти не вспоминали, сойдясь на том, что он сумасшедший, а потому ответственности за это нелепое вторжение не несет. Хенри нехотя высказал эту мысль, и Бриджит, помолясь, нехотя с ним согласилась; однако возмущение случившимся время от времени все-таки давало о себе знать. Капитан по этому поводу высказывался более определенно.

Люси так и не написала Ральфу во второй раз, как сама и предвидела; даже когда от него пришел ответ, который, впрочем, она тоже предвидела. Смятение, вызванное странными тогдашними

событиями, со временем улеглось, но весь тот день так и не вылинял для нее, не слился с серым фоном, сохранив цвета яркими, как на картине. Ни образы реальности, ни образы воображаемые никуда не делись. Автомобиль останавливается, поворачивает назад. Она снимает со смородиновых кустов накрахмаленные салфетки. Чужой человек, чей приход совершенно случаен и в то же время не случаен, встает на колени и молится. Ее обнимает отец.

Так уж все сложилось, писал Ральф. *И некого в том винить.* Он не мог дать ей то, чего она от него хотела; именно поэтому она его когда-то и полюбила и не разлюбила до сих пор. Тогда она не понимала этого, теперь поняла, что все письма на свете, вся тоска и печаль ровным счетом ничего не изменят. До конца своей жизни она будет любить человека, который женился на другой.

— Расскажи мне о Монтемарморео, — попросила она отца однажды за завтраком, так, как будто он ни разу ей об этом не рассказывал, и он принялся повторять уже знакомые слова и фразы.

Потом были ставшие уже привычными выезды на бега и в оперу, и Люси знала, что ее отец надеется на невозможное: что нежданно-негаданно из безликой массы болельщиков на бегах или

театральных зрителей вдруг выступит вперед мужчина, так же, как много лет назад появился из ниоткуда Ральф. Сам отец ничего на этот счет не говорил, но Люси чувствовала эти надежды в его преувеличенно заботливой манере.

Между ними — притом, что Люси по-прежнему бывала раздражительна и обидчива, а отец назойлив и требовал слишком многого — постепенно установилось доверительное чувство. Люси стало казаться, что прежде она сознательно и злонамеренно отталкивала его и что он не мог этого не понимать. Она стыдилась этого, стыдилась, что совсем не горевала по матери, что в любовном ослеплении так нелепо и так эгоистично не желала никого и ничего вокруг принимать во внимание. В том, что жизнь ее стала пустой, виноваты обстоятельства; теперь же ее неловкий любовный пыл, как и многое другое, успел уйти в прошлое и не слишком назойливо о себе напоминал. На ее тридцать девятый день рождения они с отцом посмотрели «Николаса Никлби» в шикарном новеньком кинотеатре, который сменил былой синематограф. А вернувшись в Лахардан, они засиделись далеко за полночь, как теперь это у них время от времени случалось.

Несколько недель спустя, ясным ноябрьским

днем, они вместе обиходили семейные могилы в Килоране; прежде Люси делала это одна.

— Мы тут среди своих, — заметил капитан, обрезая буйно разросшуюся траву.

Надгробия в семействе Голтов было принято класть на могилу плашмя, и теперь из-за травы они были едва заметны. Местами лютик заплел побегами даже надписи, клевер крошил известняковые плиты по краям.

Люси с корнями выкапывала герань, амброзию и щавель. Ее часто удивляло то хладнокровие, с которым отец выслушивал в гостиной бредни этого психа. Он ведь, по сути, человек простой, вполне мог подняться наверх, взять ту самую винтовку, из которой однажды уже стрелял по поджигателям, и — как солдат солдату — дать понять, что может пустить ее в ход еще раз. Но он не стал сопротивляться обстоятельствам, которые были превыше его сил; и, похоже, вообще с недавних пор взял себе это за правило.

— Конечно, придет такой день, — в голосе у капитана появились пророческие нотки, — когда некому будет делать за нас эту работу. Хотя, конечно, и это не важно, ведь мы это делаем скорее для себя, тебе не кажется?

Она кивнула, выкапывая очередное корневи-

ще. Их род пресечется, когда настанет срок, и никто ничем не будет им обязан, и всякая память о них умрет. Останутся влачить свой век одни только мифы, истории, переходящие из уст в уста.

— Ну да, а как же иначе, — согласился он сам с собой.

Она смахнула усыпавший гладкую серую поверхность надгробия травяной мусор. Иногда ей казалось, что даже ездить на бега ему уже тяжеловато: с того утра, когда они с Алоизиусом Салливаном сидели в баре «Сентрал-отеля», прошла уйма времени. «Замечаешь, как он стал ноги волочить», — услышала она один раз краем уха фразу Хенри. Он куда медленнее стал взбираться по лестнице, а когда выбирался через чердачное оконце на крышу, получалось это у него теперь совсем неловко. И яблони он теперь обрезал очень медленно, и ежевику выкапывал. Машину теперь тоже водила она и, припарковавшись на улице в Инниселе, оставляла его в салоне, а сама шла по магазинам, от прилавка к прилавку, со списком Бриджит в руках: все тот же твердый почерк, ничуть не изменившийся с тех времен, когда Хенри на обратном пути с маслобойни отдавал в руки миссис Мак-Брайд точно такой

же список. На дверях магазина миссис Мак-Брайд много лет висела табличка *Продается,* но недавно табличку сняли. Так никто в ее доме и не поселился.

— Хотя так все равно лучше. — Отец отвернулся, опускаясь на колени, чтобы скрыть от нее гримасу боли. — Хоть немного, а лучше, да, леди?

В углу кладбища было место, куда сбрасывали скошенную траву и вырванный с корнем бурьян. Она отнесла туда все, что они срезали и выкопали; стебли уже успели обмякнуть, листья пожухли.

— Намного лучше, — сказала она, вернувшись к могилам, и принялась собирать инструменты.

На кладбище они заехали по дороге в Инниселу и теперь двинулись дальше. Она купила все, что нужно; магазины были знакомые, и в каждом с ней здоровались. Ей часто приходило в голову, что она может действовать на нервы жителям Инниселы, поскольку человек, с которым случилось что-то странное, сам становится странным; и глупо их винить, если именно так они про нее и думают. Но, даже несмотря на это, она всегда старалась подольше здесь задержаться, поскольку сроднилась с этим городом, когда-то совершенно ей безразличным.

Сегодня она остановилась посмотреть на лебе-

дей, как они плавают взад-вперед, как ковыляют — несколько менее грациозно — по берегам, которые давным-давно стали их неотъемлемой собственностью. Она полюбовалась розовато-красной валерианой, свисавшей со стены, мимо которой она проходила на обратном пути к променаду. Она обратила внимание на маленькую забавную деталь, которую показал ей отец сразу после того, как вернулся: на почтовых ящиках сквозь зеленую краску по-прежнему проглядывали королевские вензеля. Она посмотрела, как на камнях под парапетом играют дети, как увозят с набережной груды собранных на берегу водорослей. Иногда она присаживалась за столик в кафе при булочной, рядом с бывшим аукционом, иногда грелась на солнышке возле эстрады, но сегодня она прошла мимо всех этих мест, вернувшись вместо этого к машине, где дремал над номером «Айриш таймс» ее отец.

В тот вечер он говорил об иннисельских регатах и о летних карнавалах, которые давно успели кануть в прошлое. А она вспомнила о том, как однажды мистер Салливан привез известие о марше синерубашечников[38] вдоль по длинной

[38] Примечания: 38

Националистическая ирландская организация фашистского толка, достаточно влиятельная в 1920–1930-е годы.

главной улице, из конца в конец, и о том, как посреди ночи через Иннисселу с ревом пронеслись участники автомобильной гонки вокруг Ирландии, как раз примерно на полпути.

— Помнишь тот вечер, когда мы ходили прощаться с мистером Эйлвордом? — спросил отец. — А ты все пыталась отыскать глухонемого рыбака?

Он уже собрался идти спать и остановился у захламленного стола в прихожей, подхватив с него какую-то книгу в потертом кожаном переплете.

— Он научил меня, как с ним можно говорить, — сказала она. — Я тебе уже рассказывала? Когда я шла из школы, он всегда ждал меня по дороге домой.

— Так, значит, вы, леди, умеете говорить на пальцах?

— Умею.

Она показала ему свое умение прямо оттуда, где стояла, из дверного проема в гостиную. Руки у рыбака были грубые и все в шрамах, а когда он совсем постарел, по тыльной стороне расползлись веснушки, но двигались они настолько выразительно, что ей захотелось так же. Их разговоры были похожи на разговоры двух маленьких детей, но, с другой стороны, ей часто потом прихо-

дило в голову, что от старика и девочки, которые не слишком близко между собой знакомы, было бы нелепо требовать большего.

— Тебе тогда было одиноко, — сказал отец.

— Если тебе немножко одиноко, в этом нет ничего страшного.

— Может быть, оно и так.

Он ненароком положил книгу обратно на стол, царапнув о столешницу оторвавшимся кусочком кожи на корешке. «Ирландская жизнь» Ле Фаню, а вместо закладки электрический счет. Несколько секунд он тихо стоял, положив руку на вытертую кожу, и по лицу его невозможно было сказать, что у него сейчас на уме, хотя, как правило, ей это особого труда не составляло. Он знал, что она ревнует к той, другой, которая жена; и знал, что в последнее время эта ревность стала не настолько болезненной. Но обсуждению такие вещи не подлежали.

— Знаете что, леди, а не съездить ли вам как-нибудь на швейцарское кладбище? А заодно и в Монтемарморео?

— Может быть, нам вместе съездить в Монтемарморео?

— А ты была бы не против?

— Я была бы совсем не против.

— Знаешь, за эти годы ей, несмотря ни на что, случалось бывать счастливой.

— Ты устал, папа.

— Это трудно объяснить. Я просто чувствовал, и все.

Она стояла и смотрела, как он идет вверх по лестнице, без книги, которую он сперва подобрал со стола, а потом положил обратно. В доме никогда не было заведено желать друг другу спокойной ночи, не стал исключением и этот вечер.

— А пчелы из Лахардана не ушли, — сказал он, обернувшись на полпути вверх. — Наверное, навсегда тут останутся.

Люси посидела еще немного в гостиной одна, потом придвинула каминную решетку поближе к угольям, которые все еще тлели в камине. Она разложила по местам подушки, расставила стулья, закрыла дверцы углового буфета, чуть приподнимая их там, где провисли петли и приходилось прикладывать некоторое усилие. Проходя мимо доски для багателя, она пустила шарики в игру. Свой личный рекорд, двести десять очков, она установила в шесть лет и сегодня тоже его не улучшила.

Оглянувшись в последний раз, чтобы проверить, все ли в порядке, она на долю секунды

увидела комнату такой, какой она стала бы после пожара, и снова услышала стон. Часто, когда за окном уже брезжил рассвет, вынырнув из беспокойного предутреннего сна, она выносила с собой на поверхность странную фигуру в выцветшей черной одежде, которая, скорчившись от страха, сидела в уголке кресла и смотрела перед собой пустыми глазами. Однажды она увидела стоящий у стены маяка большой старомодный велосипед, а где-то вдалеке, в дюнах, стоял худой нескладный человек, которому казалось, что он убийца. Сама не зная почему, она какое-то время наблюдала за ним; сама не зная почему, она сразу вспомнила и будто воочию увидела мелкие, суетливые движения рук, нервные пальцы, которые пытаются одновременно дотронуться везде, где болит. Там, в песках, он так и не сдвинулся с места, а просто стоял и смотрел в море.

* * *

Лежа на высоко поднятых подушках, капитан слышал, как дочь ходит внизу по гостиной, потом как она прошла мимо его двери к себе. В какой-то момент, среди ночи, он вспомнил, как они привели в порядок могилы, и у него стало легко на душе. Потом он почувствовал боль. Она его не

разбудила.

Пять

1

Когда после похорон прошло уже довольно много времени и начался следующий год, Люси решила разобрать одежду и вещи отца. Ничего неожиданного для себя она там не обнаружила. Складывая костюмы и сорочки, она думала о том, закончилась ли наконец многоактная драма в этом доме, который теперь принадлежал ей. Он выпил весь свой виски, столько, сколько хотел, и она ему не мешала. Он знал, что смерть потихоньку карабкается вверх по его дряхлеющему телу; не раз и не два он говорил, что если в чем и можно быть уверенным наверняка, так только в этом. Он с улыбкой принимал рачительную экономику природы, и она тоже вместе с ним старалась не придавать значения предчувствию смерти, вспоминать его таким, каким он был когда-то, медленно приучать себя к тому, что ее простили за все, даже за те упреки, которые так и остались невысказанными; полюбить его заново.

Кое-что из его вещей она решила оставить: набор запонок, его часы, трость, которую он в последнее время начал брать с собой, когда, от случая к случаю, ходил с ней вместе на прогулки,

обручальное кольцо, которого он так и не снял. Одежду она отвезла в Инниселу, одной женщине, которая собирала пожертвования от имени св. Винсента. Его коллекцию открыток с видами она тоже отложила в сторону. Спальня, которая долгие годы пустовала и потому была похожа на могильный склеп, снова стала склепом: двери заперли, и никто туда больше не входил.

С уходом капитана из дома исчезла и определенная формальность, порядки, заведенные еще в дни его молодости, которые он любил и ценил и которые, словно сами собой, ожили сразу по его возвращении. «Не надо. Какой в этом смысл?» — раз и навсегда постановила Люси, которой не хотелось, чтобы Бриджит и Хенри по-прежнему сновали с подносами между столовой и кухней. Теперь уже скорее не они обслуживали ее, а ей самой приходилось за ними присматривать все чаще и чаще. Она опять заняла свое место за кухонным столом, как в детстве, а потом в те годы, когда отец еще не вернулся. Меняя привычный порядок вещей, она старалась ради их удобства, а не ради своего собственного. Если бы отец по-прежнему жил в доме, завтраки, обеды и ужины, как и раньше, накрывали бы в столовой и никто бы не жаловался: Люси знала, что бороться с

этим было бы бесполезно, даже если бы он сам так решил.

Бриджит по-прежнему стояла у плиты; Хенри колол во дворе дрова, доил коров и боролся, как мог, с бурьяном в саду. По воскресеньям Люси брала их с собой на машине в Килоран, приезжая за полчаса до начала церковной службы, чтобы они успели к мессе, и по дороге они все трое вспоминали, что и здесь все переменилось, потому что раньше, много лет назад, все было с точностью до наоборот. Хенри покупал свои сигареты, а потом они ждали ее возле магазина. Бриджит с детства нравилось ходить к мессе, а потом здороваться с людьми, и в этом смысле она с тех пор ничуть не изменилась. Сторожка у ворот окончательно пришла в запустение, но когда по воскресеньям они проезжали мимо нее, обращать на это внимание было не принято. На кухне разговоры все больше шли о том, как Хенри, когда он только-только успел жениться и переехать в Лахардан, тосковал по морю и как Бриджит из-за этого чувствовала себя виноватой, потому что ей казалось, что она испортила ему жизнь, пока он немного не попривык к новому месту. «Человек, он рано или поздно ко всему привыкает», — говорил Хенри, вот и он привык,

и все у него стало нормально. В те времена по окрестным дорогам ходил разносчик и продавал такие маленькие половички, которые делали в Египте, и пуговицы всех цветов и размеров, и деревянные шампуры, которые он сам вырезал из ясеня, а еще мел и коричневые бутылочки с чернилами. Таких теперь не увидишь, уже лет тридцать, как исчезли. А еще в Лахардан заходил человек, который продавал абажуры, и каждый год приходил продавец «Альманаха Старого Мавра». Лудильщики чинили во дворе кастрюли, а лошадей ковать нужно было вести за четыре мили.

Такие теперь шли разговоры, и Люси слушала, как в тот день, когда она родилась, туман стоял все утро и что ее могли бы назвать Дейзи или Алисией. А под самое Рождество, в первый год ее жизни, в гостиной загорелась сажа в каминной трубе. На день Святого Стефана ребята из деревни тоже что-то такое устроили в честь новорожденной. Ханна шла как-то раз домой через пляж и услышала банши.

— Да ветер это просто был, и все, — сказал Хенри, — дует сквозь расщелину в скале, отсюда и вой.

Но Бриджит сказала, что Ханна видела бесплот-

ную фигуру, как будто из тумана, в ярде от того места, где она стояла.

* * *

Желание капитана исполнилось. Ясным мартовским утром 1953 года Люси увидела могилу матери.

> Хелоиз Голт, на 66-м году жизни.
> Из Лахардана, Ирландия.

Темные буквы четко выделялись на фоне шероховатого неполированного гранита, и Люси попыталась представить себе, как должно было измениться с возрастом лицо, которое она помнила с детства. Кладбище в Беллинцоне было крошечное; кроме нее никого там не было. Она встала на колени и помолилась.

Потом, в привокзальном кафе, она заказала кофе. Все вокруг казалось ей странным: она еще ни разу в жизни не выезжала за пределы Ирландии. Долгие путешествия на поездах по Англии, Франции и Швейцарии открыли ей то ощущение заграницы, которое до сей поры она встречала только в книгах. Ей никогда не приходилось слышать, как говорят на том языке, на котором

обратился к ней официант, принесший кофе, — ни слова не понятно. Классические швейцарские ходоки пришли целой компанией и заполнили все столики вокруг нее, разложив по незанятым стульям свои рюкзаки и палки. Где-то в этом городишке жил добрый доктор.

Следующее путешествие перенесло ее на ту сторону итальянской границы. В тот же вечер, в Монтемарморео, в маленьком номере единственной на весь город гостиницы, она распаковала синий чемодан, который когда-то купили специально для нее, хотя ей так и не представилась возможность вытиснить на коже свои инициалы. Она заказала поесть, понятия не имея, что ей в итоге принесут.

Рано утром она отыскала виа Читтаделла и дом башмачника, с товаром, выставленным в окнах нижнего этажа. На выходящем на улицу балконе второго этажа как раз хватало места для столика и двух стульев. Она не стала тревожить башмачника ни в тот день, ни позже, и только один вопрос какое-то время не давал ей покоя: сын ли это того самого башмачника или дело купил какой-то другой человек.

Она прошлась по узким, тесным улочкам. В церкви, выстроенной в честь св. Цецилии, был

иконостас. На прилежащей улице городские власти решили улучшить освещение: в ямы, выкопанные по краю тротуара, ставили новые столбы, движение было перекрыто. Она выучила свои первые итальянские слова: *ingresso, chiuso, avanti*[39]. Она отыскала ресторанчик, о котором ей рассказывал отец, очень скромный, на тихой улочке. За городом она обнаружила заброшенные мраморные каменоломни.

Маме здесь было самое место. Она умудрилась присвоить этот маленький городок в гораздо большей степени, чем Англию, даже чем Лахардан, и сделать своей родиной Италию. Люси по-прежнему помнила некую смутную тень и отдаленное эхо голоса, но и в уличной суете, и по дороге к каменоломням она чувствовала себя посторонней. *Я здесь немного задержусь*, написала она в отправленной на имя Бриджит и Хенри открытке и подумала: а вдруг и ей — благодаря какому-нибудь неожиданному росчерку судьбы — придется остаться здесь навсегда.

Она услышала историю св. Цецилии. Историю ей рассказала хрупкая женщина с негромким, мягким голосом, которую она и раньше при-

---

[39] Примечания: 39
Вход, закрыто, проходите (итал.).

метила в церкви и которая теперь подошла к ней между пустых скамей. Обратите внимание, сказала женщина, у образа на иконостасе чудодейственные глаза. Они вместе посмотрели на бледно-голубые глаза и на пряди светлых волос; золотая фольга доканчивала нимб, платье было такое светлое, что казалось бесцветным, и лира в тонких руках. Еще ребенком, сказала женщина, святая Цецилия услышала всю ту музыку, которую впредь суждено сочинить людям.

Люси догадалась, что ее мать — и, вероятно, из того же источника — знала о том, что святая Цецилия родилась специально, чтобы стать мученицей, и была убита за то, что насмехалась над древними богами, а после смерти стала святой покровительницей музыкантов, так же, как св. Катерина покровительствует седельщикам, Карл Борромео — варщикам крахмала, так же, как св. Елизавета приносит облегчение всем страдающим от зубной боли.

Женщина попросила милостыни на восстановление храма, после чего удалилась.

* * *

Из Монтемарморео Люси уезжала нехотя, хотя и знала, что больше никогда сюда не вернется. Ей

были уготованы иное время, иное сочетание обстоятельств, чем матери, чем отцу. Притворяться не было смысла.

Когда наступила зима и воспоминания о долгом путешествии начали утрачивать живость, она перечитала — методично, в том порядке, в каком они были написаны, — все письма, полученные ею от Ральфа. Тлеющая под спудом любовь шевельнулась в ее душе, но те люди, о которых шла речь в этих письмах, стали теперь совсем другими, как стали другими ее отец и мать. Она вынула из ящика незаконченную вышивку и завернула в нее отчаянные Ральфовы мольбы, перевязав сверток веревочкой, которую сплела из разноцветных шелковых ниток.

2

Однажды днем в Инниселе Люси принялась высматривать черный велосипед. Она искала его возле маяка, где подходили к берегу рыбацкие лодки, и в бедной части города. Однажды ей показалось, что она его увидела, у входа в зал Лиги Креста, а потом еще раз, на улице Мак-Суини, но оба раза, подойдя поближе, она понимала, что ошиблась. Она взяла в привычку сидеть в кафе при булочной, за столиком возле окна. Она не знала, что станет делать, если увидит, как велосипед едет мимо, что станет делать, если увидит его стоящим у витрины магазина или у стены, как в предыдущие два раза. Необходимость действовать именно так, а не иначе проистекала из какого-то неведомого ей источника и, казалось, только подпитывалась от постоянных неудач. В конце концов она открыто начала наводить справки и выяснила, что человека, которого она ищет, отправили в сумасшедший дом.

Она вернулась с этой новостью в Лахардан, но там она не вызвала ни какой-то специфической реакции, ни даже особенного интереса. Сложилось молчаливое мнение, что именно к этому все

и шло; Люси даже показалось, что она слышала эти слова произнесенными вслух на кухне, когда ее там не было, с выраженной ноткой удовлетворения, — в качестве финальной ремарки в разговоре, суть которого осталась ей неизвестна. В следующий раз, приехав в Инниселу, она подъехала к психиатрической клинике, прямо к забору возле высоких железный ворот. У стоящего на холме кирпичного здания вид был довольно-таки запустелый, как будто больных там и вовсе не было, но она прекрасно знала, что это не так. Запертые ворота выглядели устрашающе. На стойке ворот висела цепочка, а на другой стороне — колокольчик на железной скобке.

Она развернулась и уехала прочь.

* * *

Она расстелила на обеденном столе очередную холстину, придавив все четыре угла книгами. Потом аккуратно перенесла на холст недавно законченный набросок акварелью: маки на охряном фоне. Она отобрала нитки и разложила их в ряд.

Интересно, сколько раз она уже делала все это раньше и сколько раз, закончив вышивку, она произносила одну и ту же фразу: «Может быть,

оставите ее себе?» Ей так и не удалось найти лучшего способа притвориться, что в этом подарке нет каких-то особенных достоинств, что вышивкой она не дорожит и не видит в таком подарке чего-то экстраординарного. Ей нравилось делать подарки, и, когда она говорила, что на стенах в Лахардане уже просто нет места для очередной работы, это преувеличение было частью общего удовольствия.

Она сделала пробные стежки, чтобы наметить цвета: оранжевый и красный для маков, с полдюжины разных оттенков, четыре разных зеленых цвета для зубчатых листьев, а к охре добавить немного серого. На работу уйдет не один месяц, считай, вся зима.

* * *

— Подай миссис Голт ее чай.

Жена булочника из-за хлебной стойки отдала распоряжение девочке в перепачканном мукой комбинезоне. Значит, она благополучно вернулась домой, постановили в кафе после того, как она приехала назад из Италии и Швейцарии; причина ее поездки была всем известна, но на этот счет разговоров не было.

Она повесила зонтик на спинку второго стоя-

щего за ее столиком стула. Посреди дня ни с того ни с сего вдруг пошел дождь.

— Ужас, а не погода, — громко сказала стоявшая за стойкой женщина, явно обращаясь к ней.

Волосы у нее когда-то были рыжими, а теперь начали седеть, и в глазах появилось тихое чувство облегчения, как будто она про себя благодарила Бога за то что вышла из детородного возраста, родив десять девочек и мальчика. Ее муж в кафе не появлялся никогда, но зато снабжал половину города хлебом, а также кексами, булочками и пончиками.

— Кексы, да, мисс? — спросила девочка, смахнув рукой крошки с покрытой пятнами скатерти, а заодно вытерев молоко, которое не успело до конца впитаться в пробковую подставку. — Разных принести?

— Да, спасибо.

У девочки были заострившиеся черты лица, пальчики на руке, расставившей в должном порядке сахарницу и молочник, распухли в суставах. Другая рука была забинтована.

— Вот льет, да, мисс?

— Да уж. Ты ведь Эйлин? Я все время путаю тебя с сестрой. Не обижайся.

— Которая старшая?

— Да, наверное.

— Старшую зовут Филомена.

— А ты Эйлин?

— Да, конечно. Погодите немного, сейчас принесу вам чай.

Гипсовая фигура над дверью во внутреннее помещение, поднявши руку, благословляла кафе. Люси проследила за девочкой, как та прошла под фигурой, а потом порылась в сумочке и отыскала трехпенсовик, чтобы не забыть потом. Монетку она сунула за отворот перчатки, зная, что все время будет там ее чувствовать. По написанным на стекле широкой, наполовину задернутой шторами витрины буквам стекала дождевая вода. По улице бежали люди, натянув плащи на голову.

— Мэтти, да ты же нас всех тут утопишь! — крикнула женщина за стойкой только что вошедшему оборванцу, с чьей вымокшей насквозь одежды ручьем текла на пол вода. Уличный нищий, играет на аккордеоне, сшибает медяк-другой.

— Ну да, зато полы не надо будет мыть! — Он сел возле самой двери, поставив перед собой на столик аккордеон.

— Остались только эти, — сказала девочка по имени Эйлин о кексах, которые как раз принесла.

Из каждого кекса был вырезан треугольный кусочек, освободившееся место заполнили малиновым джемом с искусственными взбитыми сливками и положили кусочек на место. Шесть кексов на тарелке.

— Все равно они самые лучшие, мисс.

— Очень красиво получилось, Эйлин.

На пробковую подставку осторожно поставили давно не чищенный металлический чайник, нож положили рядом с простой, без узора, тарелкой.

— Может, еще несортовых вам принести, мисс?

— Нет-нет, Эйлин, этого вполне достаточно.

Она налила себе крепкого черного чая и разбавила его молоком. Она отлепила бумажку от нижней части кекса. С улицы заходили люди, еще и еще, рядом со столиком аккордеониста приткнулась детская коляска, кто-то стряхивал воду с красного зонта; когда зонт закрыли, одна из спиц нелепым жестом выставилась в сторону.

— Он здесь решил навеки поселиться, — сказал кто-то, и вокруг засмеялись.

Как ей хотелось, чтобы и к ней обращались так же легко и по-свойски, как к аккордеонисту! Как ей хотелось на равных принять участие в этом беззлобном обмене шпильками! «Там женщи-

на-протестантка все еще ждет сдачи», — сказала недавно в Домвилле одна из девушек за стойкой. Вот так они ее и воспринимают, именно так они говорят о ней, когда забывают ее имя или просто не знают имени, именно это явствует для них из ее манеры говорить и одеваться, из ее внешности, именно так они себя по отношению к ней и ведут. Женщина-протестантка есть в своем роде реликт, наследие прошлого, сама по себе она может вызывать чувство уважения, но все равно она не здешняя. А в ее случае чувство непохожести было еще сильнее. В тот день в Домвилле, после того как она уехала, той девушке за стойкой, которая была не в курсе, наверняка рассказали всю историю с начала до конца.

Она налила себе еще чаю и попросила кипятку, который ей подали через некоторое время. В окошко пробился блеклый солнечный свет, исчез, потом прорезался снова. Фасады домов на противоположной стороне улицы стали ярче — зеленые и розовые, — и блестят сланцевые кровли. К тому, что она не похожа на всех, она привыкла так же, как привыкла к одиночеству. А может быть, это вообще одно и то же; во всяком случае, нелепо обижаться на такие вещи.

Внезапно накатившее настроение ушло. Воз-

буждение — даже воодушевление — стало для нее привычным состоянием за те несколько месяцев, которые ушли на вышивку с маками. Она не пыталась докопаться до причин, она просто следовала какой-то внутренней логике происходящего, зная, что это и ее собственная внутренняя логика тоже, и делала то, что должна была делать. Еще какое-то время она сидела и наблюдала за публикой в кафе: аккордеонист допил чашку чая, денег за которую с него требовать не стали, ребенок спит в коляске, семейная пара ест рыбу с жареной картошкой, две женщины о чем-то оживленно говорят между собой. Она нащупала в перчатке трехпенсовик и оставила его под блюдечком. Расплатилась она у стойки.

Выйдя наружу, она направилась к тому месту, где оставила автомобиль, по тротуару, который уже начал подсыхать, отдельными пятнами. Клянчили милостыню дети-нищие; где-то за спиной заиграл аккордеон.

Какое-то время она ехала прямо, в поисках места, где можно было развернуться, потом вернулась той же дорогой назад, снова мимо Банка Ирландии и товарных складов Кофлана, по улицам, по улицам и за город.

Доехав до железных ворот, она остановилась

прямо возле решетки, как и в прошлый раз. Вышивка, на которую у нее ушла вся зима, была забрана в ясеневую рамку, такую бледную, что она казалась почти белой. Она достала ее с заднего сиденья и вместе с ней пошла к той стойке ворот, на которой висела цепочка звонка.

Тяжелый колокольчик приржавел к штырю и поначалу раскачивался совершенно беззвучно; потом раздался звон и эхом отразился от холма. Она подождала, но никто не вышел. Ни даже какой-нибудь там садовник или разнорабочий. На короткой, круто поднимающейся в гору аллее было по-прежнему пусто. Она постояла еще немного, потом уехала.

Подъехав к первому же перекрестку, она увидела впереди цепочку идущих друг другу в затылок людей и остановилась. Их было десять или одиннадцать, все в темной одежде. Впереди шел санитар, еще один замыкал колонну. Она подождала, пока они подойдут поближе, потом вышла из машины.

— Сегодня он с нами не пошел, — сказал, услышав фамилию, тот санитар, который шел во главе колонны. — Но если вы хотите что-нибудь ему передать, то я передам.

Она отдала ему вышивку в рамке. Другой сани-

тар спросил:

— Это вы сами сделали, мэм?

Все столпились вокруг нее, чтобы взглянуть на вышивку.

— Красиво, — сказал тот же самый санитар.

— Красиво, — повторил один из пациентов, за ним другой, а затем еще один.

Она спросила, нельзя ли ей будет время от времени посещать получателя этого подарка.

* * *

— Нет, все-таки, а смысл-то в этом какой? — пробормотал себе под нос Хенри, когда прошли весна и лето и началась следующая зима.

Бриджит вытерла чашку и положила ее в другую, обе на бочок, а под ними блюдца. Пальцы у нее сегодня как-то плохо слушались для такой тонкой работы: отказывались разгибаться, и все тут.

— Никакого, — сказала она. — И все-таки.

— С ней все в порядке, а, как ты думаешь?

Не зная, что сказать в ответ, Бриджит попросту не стала отвечать. Она отнесла чашки с блюдцами к большому зеленому серванту, развесила чашки за ручки на гвоздиках, а блюдца выстроила вдоль стенки за сушилкой. Это все от сырости

такая мука. Когда холодно, суставы на пальцах не болят и эдак вот не застывают.

— И возвращается такая усталая, — сказал Хенри.

— Еще бы.

Пять лет прошло с тех пор, как этот человек приходил в дом, тридцать четыре года — с тех пор, как он приходил в первый раз. Бриджит вспомнила, как тогда, в первый раз, она вышла утром из сторожки на подъездную аллею, а Хенри сказал: что-то не так; как он вспомнил про собак, которых отравили с неделю или около того назад, и как он потом убирал гравий, потому что на камешках осталась кровь. Она вспомнила, как Люси, вся такая разнаряженная, пришла в кухню, когда пришел этот человек, и сказала, что сама отнесет в гостиную чай. А потом одна только Люси ни слова не сказала о том, о чем говорила и она, и Хенри, и капитан: что сумасшедшего, вероятнее всего, нельзя винить, если он действует другим людям на нервы. И Люси тут не виновата. Разве она виновата в том, что ненавидит этого человека всей душой.

— Об этом уже разговоры идут, — сказал Хенри. — О том, что она туда ходит.

— Да это уж непременно.

Люди потому и говорили об этом, что ничего не могли понять, как не могли этого понять здесь, на кухне. Разве мало того, что все, в конце концов, встало на свои места, — капитан, с его настойчивым желанием принять участие в жизни собственной дочери, добился, чего хотел, они куда-то все время ездили вместе, и его любовь, его дружба нашли наконец дорогу к ее сердцу? И разве не мало ей памяти о былой любви и того, что эта память не умерла за все эти годы? «И чего ты там забыла?» — Эта фраза была у Бриджит наготове вот уже который месяц, но она старательно держала ее при себе.

— В змейки-лесенки[40] они там играют, — сказал Хенри.

[40] Примечания: 40

Детская настольная игра, в которой фишки игроков движутся вперед и вверх по лесенкам, а по змейкам — назад и вниз.

3

Однажды, когда с момента ее первого визита прошло не так много времени, санитар сказал ему:

— Я тебя научу, как точить бритвы.

На столе стояли тарелки после завтрака, с ножами и вилками крест-накрест, все ножи затуплены напильником, и жестяные кружки с остатками чая. Была его очередь убирать со стола, составлять на поднос и передавать в окошко, а потом ждать, когда поднос отдадут обратно, пока санитар расставлял по шкафчикам все остальное — соль, перец, неиспользованные приборы, тарелочки с сахаром. Сегодня утром санитар был — Мэтью Кверк. Пальто он снял, рукава подтянул резиновыми ленточками, а кепку положил на сундук у двери.

— Это привилегия, — сказал мистер Кверк. — В смысле, насчет бритв.

Бритвы никому нельзя было трогать, кроме самого Мэтью Кверка. Он брил пациентов; с тех пор, как Юджин Костелло припрятал бритву, а на следующее утро его обнаружили, всех пациентов брил только Мэтью Кверк, такое теперь было

правило.

— Ну, что там такое? — раздался голос по другую сторону от окошка, и руки вытолкнули наружу поднос, с которого успели стереть даже потеки воды. Это руки Макинхи, по голосу можно узнать.

— Ты меня понял? — спросил санитар. — Понял, что я тебе говорю?

Мистер Кверк сказал ровно столько, сколько сказал, ничего лишнего.

— Все ты понял, — продолжил он, выжимая тряпку в миску с водой.

Мистеру Кверку нужно только раз взглянуть на тебя, и он уже знает, понял ты или нет.

— Я никому другому бритвы даже близко не доверю, — сказал он.

Из Южного Типперери, вот он откуда, хотел стать священником, но что-то не заладилось.

— А теперь протри-ка тот стол, — сказал он. — Длинный оставь мне, а потом выйдем через черный ход.

Мастерская с окнами, закрашенными черной краской, находилась на той стороне двора, а посреди двора была канава. На двери два висячих замка, один наверху, другой внизу. А внутри надо включать свет.

За спиной у них закрылась дверь, щелкнула

щеколда. Свет был — электрическая лампочка на проводе над верстаком. Санитар размотал сверток из зеленой байки и вынул бритвы, потом капнул масла на точильный камень.

— Вот здорово, что она к тебе приходит, правда? — сказал он.

Первую бритву зажали в тиски, чтобы стереть шкуркой пятнышко ржавчины, потом лезвие прижали к точилу, потом вытерли суконкой перед тем, как туго натянуть висящий на крючке кожаный ремень.

— Этим надо пользоваться, — сказал санитар. — Это же здорово, а, как ты думаешь? — сказал он.

Ответа не требовалось. Мистер Кверк знал, что ответа не будет. Новый санитар, который поступил вместо мистера Суини, поначалу не понял, пока Бриско не объяснил ему, что один из пациентов отказывается говорить.

— Конечно, здорово, — сказал мистер Кверк.

На обратной дороге в тот день попался бар Майли Кеоха, там на стойке стоял кувшин с водой.

— Отличный у вас велосипед, — сказала женщина, а он так и не смог попросить налить ему глоток воды, хотя женщина стояла и ждала.

Никто не сможет даже попросить глоток воды, увидев, что стало с домом и какие там теперь

живут люди. После такого вообще всю жизнь говорить не сможешь.

— Хорошо у тебя получается, — сказал санитар. — Давай-ка потрудись еще немного шкуркой.

Когда бритва засияла, он сказал: хватит.

— Вот ты с ней уже и подружился, — сказал санитар. — Разве не это в конечном счете самое главное?

Мистер Кверк дал ему еще шкурки. Он вынул из байки следующую бритву и зажал ее в тиски. На этой ржавчины было больше, чем на предыдущей.

Мистер Кверк сказал:

— С этой не торопись.

По тому, как здесь все складывается, торопиться некуда. Какой день ни возьми, час за часом следует безо всякой спешки. Из этого можно сделать вывод. Спешить некуда.

— Отлично, отлично, — сказал мистер Кверк.

Он тихонько насвистывал себе под нос, еле слышно. Насвистывал «Дэнни Бой», потом стал напевать. Бритва все равно темнеет, где ее ни держи, но можно сделать так, что она снова станет блестящей, сказал мистер Кверк, раз плюнуть. Когда они с ней разделаются, она будет лучше, чем новенькая, прямо с фабрики.

Работа в маленькой мастерской продолжалась час, потом еще того дольше. На стене висел календарь с горным пейзажем, а спереди лесоповал и срубленные деревья, дни недели написаны поверх картинки. Она всегда приезжала в начале и в середине месяца, и утром, когда просыпаешься, всегда знаешь, что сегодня приедет. Какой день недели, не важно, важно, что именно в этот день она как раз и приедет. Сегодня не тот день.

— Ну вот, потрудились на славу, — сказал санитар. Он обернул байкой первое из начищенных лезвий, потом второе, потом еще одно. Потом закрепил поверх байки резинкой.

— А может, смастеришь дуплянку? — сказал он. — Вешаешь ее на дерево, а потом малиновки вьют в ней гнездо.

Он нарисовал ее на куске фанеры. Он показал, как нужно выпилить стенки, две боковины со скосом, задняя стенка выше, чем передняя, и отметить место, куда прикрепить петлю, чтобы можно было открывать крышку и смотреть внутрь. Размеры он написал на фанере красным карандашом. 9x4 — задняя стенка, 6¾x4 — передняя. 5x4 и 4x4 — это крышка и донце, а боковины — 8x4x6¾.

— Может, ей как раз и подаришь? — сказал

мистер Кверк.

Колокол пробил двенадцать.

— Контора закрывается, — сказал мистер Кверк и прислонил фанеру к подоконнику.

— Ну что, будет тебе теперь о чем подумать? — заговорил он снова, уже во дворе, а потом еще раз, в коридоре. — Когда она в очередной раз тебя обыграет, может, вручишь ей приз?

В холле пациенты собрались для молитвы: анжелюс. Дежурным сегодня был мистер Кверк, он и пошел к трибуне. Если бы стал священником, был бы сейчас отцом Кверком, служил бы по воскресеньям воскресную службу, и все на свете для него сложилось бы совсем иначе.

Когда молитва закончилась, люди начали шаркать ногами; пошли разговоры, потом кто-то крикнул, и еще раз, кто-то другой. Завернешь, и будет она у тебя наготове, сделанная точь-в-точь, как научил мистер Кверк. Она выкинет шесть очков и поднимется по лесенке, а потом еще четыре, и вот она уже в домике. Ты ей отдашь, а она скажет: «А это еще что такое?» Скажет-скажет, она всегда так говорит.

Шесть

* * *

Стрелка на часах показывает двадцать минут шестого, свет за окном сперва еле брезжит, потом бьет в глаза без зазрения совести. Она опять закрывает глаза. Первое, что когда-то было слышно здесь по утрам, — это кулдыканье индюшек, а еще как Хенри покрикивает на коров. На умывальнике трещина бежит от соска через тонкий зеленый узор, а потом пропадает: всегда тут была. Тот же самый узор и на тазике, и еще на той стене, к которой крепится умывальник, на единственном ряде плиток. Одно из трех высоких окон приоткрыто на несколько дюймов, потому что она любит, чтобы по ночам шел свежий воздух, даже если за окном буря. Краска на стене снаружи вся отшелушилась, дерево выгорело на солнце.

Она стягивает ночную рубашку через голову, половицы уютно поскрипывают, когда она идет к фигурному стулу, где с вечера сложена ее одежда, чулки на спинке, туфли аккуратно надеты на деревянные распорки. Она наливает себе воды и медленно моется, и медленно одевается. На

подоконник опускается чайка: глаза-бусинки, нахальный взгляд; потом падает вниз и улетает. Китти Тереза говорила, что хотела бы стать чайкой, на что Бриджит замечала, что у Китти Терезы даже для этого мозгов не хватит.

Она вставляет в волосы шпильки, оправляет воротничок так, как ей нравится его носить, смотрится в зеркало на туалетном столике, выпрямляется, чтобы расправить платье, по-прежнему руководствуясь отражением в зеркале. Она выливает воду из умывального тазика и несет эмалированное ведро с использованной водой через всю комнату к двери. Вернувшись к постели, она тщательно расправляет обе простыни, разгоняя даже самые мелкие складки, разравнивает одеяла, взбивает подушки, подтыкает плед.

После первого раза, когда бы она ни потянула за цепочку звонка на стойке ворот, где-то вдалеке тут же поднимался крик, но слов не разберешь. Потом на крутом спуске появлялся санитар, глядя под ноги, потому что дорога была неровная, а когда он подходил ближе, становилось слышно, как звенят ключи.

— Да нет, Хораханы сюда не ездят, — сказал он в первый раз, имея в виду братьев и сестру паци-

ента, которые куда-то перебрались из Иннисели и в последний раз приезжали сюда на похороны матери. — Для семьи это такой позор, — сказал он, закрыв ворота и сев с ней рядом на сиденье.

Когда они подъезжали к зданию, он всегда просил ее подождать. Серую дверь в холл он открывал только после того, как шум внутри уляжется.

В те дни она старалась одеться понаряднее: нынче утром, прибравшись в спальне, она об этом вспоминает. Она старалась одеться понаряднее, потому что им это нравилось. Они сами иногда ей об этом говорили, когда она шла через холл, а кто-нибудь из них стоял там без дела, а потом подходил к ней и говорил что-то малопонятное и несвязное, пока его не одергивал санитар. Они не возражали, когда их одергивали. Те, которые возражают, в другом месте, говорил санитар, поднимаясь вверх по лестнице на шаг впереди нее. Он оборачивался через плечо и указывал ей на пять каменных ступенек, на случай, если она их не заметит, чтобы не споткнулась. Он сворачивал за угол, и там была деревянная лестница, а потом сворачивал еще раз, в длинный, выкрашенный душераздирающей желтой краской коридор, где все двери были на замке, голый пол и ни одной

картинки на стенах. Комната, отведенная для свиданий с пациентами, тоже была совсем голая, стены крашены той же краской, лампочка на стене под «Торжеством Христа» и главная достопримечательность — ее вышивка.

— Ну дела, ну дела, сегодня у нас посетитель.

Смех у санитара такой, никак не забудешь. Он очень веселился. Когда рассказывал ей, как некоторые из пациентов приняли ее тогда, на дороге, за супругу этого, другого пациента, чья фамилия ей известна. Они потом спорили между собой на эту тему, сказал он, а потом спорили еще и о том, точно она выбрала день для того или иного из своих визитов или неточно. Она всегда приезжала ровно через две недели, но несколько раз разносился слух, что день-то неправильный, что она перепутала.

— А на самом-то деле ни разу вы ничего не перепутали, — сказал санитар. — Ни разу за все эти годы.

Коих в конце концов минуло семнадцать.

Лицо этого санитара вспоминается ей, когда она идет через лестничную площадку к ванной. Некоторые лица вспоминать легче других. Это не он ей сказал, что сделает так, чтобы у нее был свой ключ от ворот? Как-то раз, зимой, когда на

окнах была такая наледь, что сквозь них совсем ничего не было видно? А ключ ей выдали уже весной, специально для нее выточенный, и на пробу открыли им замок, потому что новый ключ не всегда с первого раза подходит. Целую церемонию из этого* устроили, показав одну хитрость, как лучше открывать замок.

Она ставит эмалированное ведро на край ванны и выливает воду. Спускаясь вниз по лестнице, она заглядывает во все комнаты; ничего нового она там не увидит, но именно этого ей и хочется. В пределах досягаемости — паутина, свитая за ночь, и на ней паук. Она относит паука к окну, отодвигает щеколду и выпускает его наружу, а вслед отправляет остатки паутины. В это время года дня не проходит, чтобы где-нибудь не завелся очередной паучок.

На кухне она включает конфорку на плите, которая греется быстрее прочих. Она смотрит, как краснеет спираль, и слушает начало новостей: этой ночью убили какого-то фермера из-за денег, которые у него были при себе, где-то поставил очередной рекорд игрок в гольф. Этот маленький синий бакелитовый радиоприемник появился на кухне после того, как сестра Хенри эмигрировала в Америку: его включали раз в неделю, по

воскресеньям вечером, чтобы послушать «Время вопросов» Джо Линнана. В тридцать восьмом, кажется.

Всяческую бакалею привезли только вчера, хлеб в жестяной коробке должен быть еще свежий. «Если вы не подключились к Интернету, — предупреждает по радио бодрый голос, — считайте, что вас сняли с забега». Заваривая чай, она прикидывает, что это могло бы означать, вспоминая при этом, как Балтиморочка в Лисморе пришла девять к одному, и отец как раз поставил на Балтиморочку, а она сама — на Черного Чародея. «Только не говори мне, что ты ни разу в жизни не была на бегах!» Она заново переживает его тогдашнее удивление, и память сама собой выбредает на совсем другие вещи, она сама не понимает, как так вышло: ей вдруг становится интересно, читал Ральф леди Морган или не читал. Хенри сидел возле самой плиты, потому что промерз до костей, по его собственным словам, и она отправилась на машине за новым доктором, женщиной, а потом приехал священник с плоским черным чемоданчиком, где все, что нужно в таких случаях, было уже наготове. А кажется, через год после этого Бриджит просто не спустилась однажды утром вниз из своей комнаты.

Выключив радио, она медленно ест. Закончив завтрак, а потом сполоснув тарелку, чашку и блюдце остатками кипятка из чайника, насухо вытерев нож, выбросив чайные листики и поставив чайник на сушильную доску вверх донышком, она выносит во двор стул. Потом другой, а за ним третий. Хромота, которая с годами становилась все менее заметной, теперь практически исчезла. Она садится, и ждет, и дремлет на солнышке.

Цвета были именно те, какие ему нравились: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, и синий, самый его любимый. Ему нравились раздвоенные языки, глаза, черные как уголь; они, стерли до полной неразличимости две купленные в «Ронанзе» игровые доски.

— Давай-ка посидим у окошка, а? — она сказала в тот день, когда услышала кукушку, и они стали смотреть на травянистый склон с островками амброзии, пустынный, без единого дерева, ни стеночки, ни изгороди у короткой подъездной аллеи, а потом высокая кирпичная стена. — Слышишь?! — просила она, когда опять раздалась простенькая, на две ноты, кукушечья песня.

Он бросал кубики и крутил диск; ему хотелось, чтобы всегда выигрывала она, он ни разу

об этом не сказал, но она и так знала. Его голос она слышала только один раз в жизни, тогда, в гостиной, и больше ни единого слова; он напрочь забыл, как говорить, и это была его тайна. Чего-чего, а тайн в сумасшедшем доме хватает, сказал молодой санитар; тайны — самое дорогое, что хранится в любой психиатрической лечебнице, поскольку кроме них у пациентов почти ничего и нет. Потеря памяти зачастую представляет собой последнюю, и единственную, собственность пациента. Этот молодой санитар вообще любил поговорить, и фантазия у него была довольно прихотливая.

Когда ни выглянешь в окно, в некошеной траве шныряют белки: время от времени вдруг поднимется головка, ушки торчком. Один раз между ними пробежала лисица, у которой хватило ума не связываться с этой компанией. Она так и сказала, а потом подумала: а понял ли он, о чем речь.

Из легкой дремы она погружается в сон, и там все то же. Санитар говорит ей: пора; а потом на лестницах и в коридорах от нее шарахаются люди с диким выражением на лицах. К ней тянутся руки, а потом, бессильные и безвредные, тихо повисают в воздухе.

* * *

— Ага, вот вы и попались! — восклицает сестра Мария ап. Варфоломей[41].

Облачение у них некоторое время назад изменили, и в новом они выглядят чистенькими и опрятными; они идут по гравию, и у каждой непременно что-нибудь в руках, а еще они приносят ей новости — в монастыре опять перемены, возле столовой, снаружи, стоят новые кельи. Было что-то еще, но она не расслышала, а переспрашивать ей не хочется, потому что сестра Мария ап. Варфоломей уже рассказывает дальше о двух новеньких послушницах, которые приехали только на этой неделе. Сестра св. Антоний привезла ей сегодня песочных печений с изюмом, сестра Мария ап. Варфоломей — какого-то травяного чая.

— Иннисела? — переспрашивает сестра Мария ап. Варфоломей. — Что там нового, говорите?

Машина у них хулиганит, радиатор греется просто безбожно. Если совсем выйдет из строя, придется ездить сюда на велосипедах. Хотя,

---

[41] Примечания: 41

В католической традиции второе, мужское имя монахини означает имя святого, которому она посвящает себя.

конечно, до этого-то навряд ли дойдет, и они смеются.

— Закрылся «Кондонз», — говорит сестра св. Антоний. — Молодой Халпин вернулся назад из Америки.

— Я бы Эдди Халпина молодым не назвала, — негромко возражает ей сестра Мария ап. Варфоломей. — Никак не назвала бы.

— В смысле, он молодой был, когда уехал.

— Ну, тогда-то вне всякого сомнения.

— Скажи про отца Лихи.

— Отец Лихи, может так случиться, уедет на экватор.

Монахинь ей слушать приятно, каждый вторник.

С тех пор как они начали к ней приезжать, ни разу не забыли.

— Спасибо вам за вашу доброту, — говорит она. Только добрые люди станут беспокоиться о другом человеке, да еще об иноверце, просто потому, что он одинок. Очень мило с их стороны, что они вот уже бог знает сколько времени к ней ездят.

— За ваше участие, — говорит она.

Да нет, для них это просто приятная прогулка, отвечали они, когда она говорила им об этом раньше, а потом рассказали, что прошлым летом

в обители Маунт-Меллерей, есть там одна такая вредная старая монахиня, так вот она очень ими возмущалась, когда узнала, что они ездят за четырнадцать миль просто для того, чтобы навестить женщину-протестантку. «О ней что, свои позаботиться не в состоянии?» — ворчала на них старая монахиня, а что они на это ей ответили, они так и не сказали. Они как услышали все эти разговоры в городе, так просто взяли и приехали; просто сели как-то утром в машину и отправились сюда. В Инниселе до сих пор говорят о том, как много лет тому назад она шла через весь город пешком за похоронной процессией, и о том, что до этого она столько времени навещала пациента в сумасшедшем доме, тоже никто не забыл. Хотя, в общем-то, о чем тут, собственно, судачить; с моей личной точки зрения, какая разница, почему люди наносят друг другу визиты или идут за чьим-нибудь гробом: важно, что они это делают, и все.

— А лебеди?

— А куда они денутся?

Она почти всегда спрашивает о лебедях и предварительно напоминает себе, чтобы и сегодня не забыть спросить. Если лебеди покинут Инниселу — вот это будет потеря так потеря. Последнее, что

сказал ей отец перед смертью, было про пчел в саду за домом.

Улыбки на лицах: у сестры Марии ап. Варфоломей продолговатое, из родинки на подбородке растут волосы, у сестры св. Антоний круглое, как луна. По саду уже разнесся аромат сваренного ими кофе. Свежемолотый, от О'Хагана, говорит сестра св. Антоний, а сестра Мария ап. Варфоломей уже устанавливает покрытый зеленым сукном столик, который стоял на собачьей дорожке. Расшатанный донельзя, он и так уже прожил бог знает насколько дольше, чем должен был.

— Мне казалось, мы захватили с собой ячменные печенья, — говорит она, заметив, что их нет на столе. После того, как сестра св. Антоний расправляет скатерть.

— Так они в банке, — говорит сестра св. Антоний. — В банке они свежими сохраняются.

На столе миндальные печенья, которые печет одна из сестер-мирянок, ломтики фруктового торта и ячменные печенья в цветастой жестяной банке.

— Осеннее солнышко, что может быть прекрасней! — восклицает сестра Мария ап. Варфоломей.

— Да, красота.

Они постоянно удивляются тому, какая она спокойная. Для этого они сюда и приезжают, чтобы в очередной раз удивиться царящему здесь спокойствию: во всем, что они слышали и слышат до сих пор, об этом нет ни слова. Давным-давно, когда судьба была жестокой, несчастия формировали человеческую жизнь. Истории, которые переходят из уст в уста, строятся на несчастиях и существуют только благодаря им; но то, что они видят перед собой, — не сладкий ли это плод лихой и горькой жатвы? Им нравится так думать; ей не раз приходилось чувствовать, что думают они именно так.

Их удивление сквозит в жестах и взглядах, в подарках, которые они ей привозят. Они не пытаются извлечь из этого какую-то выгоду, оправдаться перед собой, как некоторые другие; им просто любопытно, почему она туда ездила так долго и преданно. Почему прошлое утратило над ней власть? Как так случилось, что милосердие родилось именно там, где, казалось бы, для милосердия не должно было остаться места? Милосердию они поют хвалу и молчаливо рукоплещут одинокой фигуре, идущей за гробом, но большего молва им не скажет.

Они часто говорят ей о том, что она вполне

могла бы обойтись и без них, поскольку возвела свое одиночество в степень искусства. Ни единого грязного пятнышка на кухне: она видела, как эта мысль пробегает по их лицам. Одевается она куда более тщательно, нежели в те времена, когда была девушкой. Время от времени из Инниселы приезжает парикмахер, чтобы помочь ей отрихтовать ее старческое величие.

— Мне так нравится все итальянское, — роняет сестра Мария ап. Варфоломей, когда в разговоре на минуту повисает пауза.

Италия часто служит предметом для беседы: ее поездка в город под названием Монтемарморео. Они уже знают и про тамошние узкие, тесные улочки, и про то, как она ходила к старым мраморным выработкам, и про кислые черные вишни, которые растут по пути. Они узнали о культе св. Цецилии, она сама познакомила их с этой святой, которую они уже успели принять всей душой.

— Ах, бедняжка, — сострадательно вздыхает сестра Мария ап. Варфоломей. — Часто вот так придет ни с того ни с сего в голову: бедная малютка Цецилия!

Несколько минут они говорят обо всем этом, о деяниях, о наказании, о жизни. Они наливают

себе еще по чашке кофе, ей добавляют молока, как она любит. Она не может объяснить себе, что именно их так удивляет. Она могла бы сказать, что в тот день, когда она заметила прислоненный к стене старый велосипед, потом подняла голову и увидела неподвижную фигуру на пляже, в игру снова включился случай. Вполне могло случиться так, что она просто прошла бы мимо, так же, как это могло случиться с ее отцом, когда он посмотрел себе под ноги и увидел то, что пыталась закопать в гальку О'Рейлева псина.

Но монахини в случайности не верят. Тайна — вот это по их части. *Отними у леса тайну, и от него останутся неспиленные бревна. Отними у моря тайну, и от него останется соленая вода.* Она читала какую-то книгу, взятую из шкафа в гостиной, и наткнулась на эту мысль; потом, много лет назад, эта мысль вернулась к ней, и она ее пересказала монахиням.

— Нет, до чего здорово сказано! — воскликнула сестра св. Антоний, а сестра Мария ап. Варфоломей спросила, кто автор: не Чарльз ли Кикхэм, а может быть, отец Праут? Но она сказала: ни тот, ни другой; какой-то иностранец, сказала она.

— Мне кажется, дело кончится тем, — сказала она в тот же вечер, продолжая ранее начатый

разговор, — что из дома сделают гостиницу.

Потом она долго не может уснуть, и перед глазами у нее стоят возможные в будущем перемены: коктейль-бар, шумная обеденная комната, номера на дверях спален. Она не против. Какая разница? Люди со всех концов земли, невиданные ранее странники; такова нынешняя Ирландия. Молодые рыбаки из Килорана в костюмах официантов, у парадного стоят машины. В Инниселе люди ходят по улицам, болтая на ходу по телефону.

— Нет-нет, не может быть, — говорит сестра Мария ап. Варфоломей, когда она во второй раз поминает гостиницу, а сестра св. Антоний качает головой.

Они и думать не хотят о переменах, хотя перемены уже произошли. Прошлое безопасно, с прошлым можно договориться, и им это нравится. Монахинь просто уберут с дороги, как убрали с дороги ту семью, которую она все еще считает своей, как убрали Мореллов из Клэшмора, Гувернетов из Эглиша, Прайоров из Рингвилла, Свифтов, Бойсов. Так должно было случиться; а потому какая разница. Но ее сегодняшним гостям будет неприятно слышать, что так, вероятнее всего, будет и впредь, и она держит эти мысли

при себе: ложь умолчания — самая невинная на свете ложь.

Они задают вопросы, и она рассказывает им истории: про Падди Линдона и про рыбака, который говорил на пальцах, о том, как на галечнике стояла и ждала таратайка и горели масляные фонари. Такое чувство, будто все это ушло, но в то же время никуда не делось.

— Нам, наверное, уже пора, — подытоживает утро сестра св. Антоний, сведя разговор назад на землю.

* * *

На всех полях пасутся теперь коровы О'Рейли, большие твари в больших коричневых пятнах. Она смотрит вниз с края откоса, но вниз не спускается даже самой пологой из тропок, потому что с недавних пор это требует слишком больших усилий. С травинки срывается стрекоза и уносится куда-то в послеполуденное марево.

Из всех дней недели этот нравится ей больше прочих, даже несмотря на то, что какое-то время после отъезда монахинь она чувствует себя одиноко. Зимой они растапливают для нее камин в гостиной и пьют кофе там. Сестра св. Антоний пришла в монастырь прямо с фермы, сестра Ма-

рия ап. Варфоломей — из института. Иногда они говорят об этом, вспоминают соседей, которых знали в детстве, рассказывают ей о людях, о которых она и раньше могла что-то слышать.

Жара идет на убыль. К вечеру в воздухе повисает пронизанная солнцем легкая дымка, море тихое, каким она его обычно себе и представляет, и волны плещут в берег так ласково, что целую жизнь можно стоять и слушать. Она не спешит; спешить ей некуда. Пусть лучше останется тайна, пускай останется — в той истории, которая по-прежнему переходит здесь из уст в уста, хотя Бриджит сердилась на такого рода сплетни, и Хенри сердился тоже. Дар милосердия, как говорят монахини; прощение было дадено в дар святой Цецилии, пока еще играла музыка и ее убийцы были в доме. В Италии они обязательно посетят ее церковь; когда-нибудь, так они сказали.

Она улыбкой отгоняет эти мысли прочь. Все, что случилось, просто случилось, и все. Каждый раз в мае, когда она отъезжала от высоких, с пиками, ворот, цвел дягиль, а осенью возле отдельного домика, где на стене висит рисунок борзой собаки, — яркие пятна фуксии. Ее визиты были единственной радостью для этого больного человека, сказал пожилой санитар через много

лет после того, как домик снесли. Искра света во тьме, сказал он, даже притом, что больной так никогда и не узнал, кто она такая.

Она должна была умереть в детстве; она об этом знает, но ни слова об этом не сказала монахиням, ни разу не включила в свою историю рассказа о тех днях, которые тянулись, словно годы, когда она лежала среди выпавших из обветшалой стены камней. На них бы это подействовало удручающе, хотя ей самой от этого на душе становится легче, потому что могло бы и вовсе не быть ничего, а теперь есть.

Она смотрит, как поднимается прилив. Она смотрит, как море качается в обратную сторону, и только после этого идет домой, через поля и через сад. Монахини собрали падалицу, но несколько яблок остались лежать в траве. Пчелы по-прежнему здесь, пасутся на жимолости, хотя все их ульи давно уже рассыпались в прах. Поперечины, на которых когда-то развешивали сушиться одежду, тоже никуда не делись, только почернели от сырости и заросли мхом. Палка, которую она берет с собой, чтобы опираться на нее по пути вниз, к камням на переходе через ручей, стоит там, где она ее оставила несколько недель назад, под аркой у стены. Сегодня она чувствует себя в

силах совершить это нелегкое путешествие, хотя, конечно, все там осталось по-прежнему: на вырезанных ею когда-то инициалах наросла кора, ручей бежит все тем же руслом, за всю ее жизнь не стесав со своих берегов ни единого лишнего камня. На дорогу уходит вся вторая половина дня, и она не замечает, как спустился вечер.

Дома она отваривает себе яйцо, поджаривает тост и, покончив с кухонными делами, проходит по комнатам. Под стеклами на вышивках лежат забравшиеся туда каким-то образом мошки, крохотные высохшие трупики украшают собой цветы и каменистые прибрежные лагуны. В нижней ванной на ванне потеки блекло-зеленого и блекло-коричневого цветов; полуспущенная штора надорвана; лампочка висит просто на проводе, без плафона.

Она проходит по гостиной, дотрагиваясь кончиками пальцев до поверхностей предметов — стеклянная дверь горки, край столешницы, письменный стол под портретом неведомого Голта, голова пастушка. И опять пахнет духами от маминого платка; и снова отец называет ее леди.

Она ставит стул у окна, чтобы посмотреть на мерцающий сквозь сумерки синий цвет гортензий. В подъездной аллее залегли тени, деревья

четкими силуэтами вырисовались на небесном фоне. Грачи спустились на лужайку — пошвыряться в траве, как обычно в это время суток, — ее наперсники, покуда она смотрит, как угасает день.

Литературная премия Букера уже более тридцати лет присуждается за лучший роман года, написанный авторами из стран Британского Содружества и Республики Ирландия. Вначале жюри формирует длинный список претендентов на эту премию (лонг-лист), а затем оставляет в коротком списке (шорт-листе) шесть романов, из которых и выбирается победитель. Само выдвижение на эту престижную премию уже является свидетельством несомненных литературных достоинств книги. В серии «Премия Букера: избранное» мы знакомим вас не только с лауреатами, но и с книгами, попадавшими в последние годы в списки претендентов.